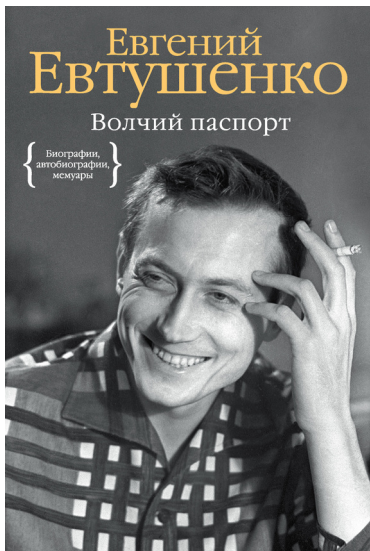




Евгений Евтушенко Волчий паспорт

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9094579

*Евтушенко Е. Волчий паспорт: Колибри; Азбука-Амтикус; Москва; 2015
ISBN 978-5-389-09866-4*

Аннотация

Евтушенко исключили из школы с безнадёжной характеристикой – «волчьим паспортом». Исключили за поступок, которого он не совершал. С таким же «волчьим паспортом» его вычеркнули и из всех «тусовок»: «...Я не принадлежу ни к одной партии, ни к одной мафии, ни к нашему выпендрёжному бомонду...» Однако «волчий паспорт» не помешал мальчику со станции Зима превратиться во всемирно известного поэта, став голосом целой эпохи. Эта книга – автобиография, написанная на излете века. Ее автор обескураживающе правдив. По отношению к себе и по отношению к близким и не очень близким людям, с которыми его сталкивала судьба, забрасывая в разные уголки земного шара. Среди этих людей – художников, музыкантов, поэтов и писателей, режиссеров, политиков, революционеров – имена тех, кто навсегда останется в истории двадцатого столетия: Дмитрий Шостакович, Борис Пастернак, Иосиф Бродский, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Паоло Пазолини, Че Гевара...

Содержание

Прощание с двадцатым веком	5
1. Книга с выдранными страницами	5
2. Ни с болонками, ни с овчарками	7
3. Негр на мосту	8
4. Я родился в рубашке – в смиренной	9
5. Евтушенко? Что это?	10
6. Я – последний советский поэт	12
7. Они уже всё взяли	13
8. Брежнев перед зеркалом Блока	14
9. За что нам не стыдно	16
10. Нельзя играть плохо на таком стадионе, как Россия	18
11. Мне не жалко советской власти	20
12. Прощание с двадцатым веком	21
Жизнь как приключение	22
1. Почему я не играю в карты	22
2. Хрустальный шар прадедушки Вильгельма	30
3. Ошибка Исаака Борисовича Пирятинского	37
Преждевременная автобиография	43
Исповедь перед путчем	64
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Евгений Евтушенко

Волчий паспорт

© Е. А. Евтушенко, 2015

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство КоЛибри®

Прощание с двадцатым веком (Предисловие автора)

1. Книга с выдранными страницами

Однажды в молодости мой друг Олег Целков нашел где-то на свалке в его родном Тушине зачитанный до дыр роман «Преступление и наказание» с выдранными или просто потерянными страницами. Художник, оценив это как дар судьбы, почти год таскал роман под мышкой, раскрывая то в метро, то в забегаловке, а то поутру на продавленной любовью тахте какой-нибудь случайной подружки, принадлежащей к той части человечества, которая и не догадывается о существовании Достоевского.

Художник уверял меня, что читать книгу с выдранными страницами еще интереснее, ибо пустоты можно заполнять собственными догадками.

Считайте, что вы нашли эту мою книгу на свалке. Она тоже похожа на роман с потерянными страницами и даже с пропущенными главами. Но они не выдраны – они просто-напросто еще не написаны.

Всю жизнь, с поспешной скрупулезностью сейсмографа, я лихорадочно записывал все подземные толчки и землетрясения двадцатого века, и порой мне было не до записывания собственного сердцебиения.

Меня называли эгоцентриком, а на самом деле я был эпицентриком. Но то, что я писал – даже не о себе, – тоже было мной. А то, что я писал, казалось, только о себе – иногда становилось больше, чем только мной. Эта книга – сдвоенная кардиограмма: моя и двадцатого века.

Когда мне было двадцать пять, я расстался с двадцатилетней, редко одаренной женщиной, которую любил больше всего на свете. Я написал стихотворение «Со мною вот что происходит», вернее, не написал, а выдохнул. После всех моих гимнастических упражнений с рифмами на сей раз они были простыми-простыми: «происходит – не ходит».

Я не придавал этому стихотворению никакого «общественного значения», считая его очень личным, написанным только для нее и для меня в надежде, что оно нам поможет. Стихотворение не помогло – было уже поздно. Но едва оно было напечатано, множество молодых людей стали переписывать его от руки, как будто я написал это о них, за них и для них.

Мы расстались навсегда с моей любимой, хотя еще долго дружили и при моих других женах, и при ее других мужьях, пока чья-то рука – уверен, что не ее собственная, – с мелким мстительным садизмом не выкорчевала все посвящения мне из ее стихов.

Но мои посвящения ей в моих стихах никто вычеркнуть не может. Ничего нет бессмысленней злобной ревности к прошлому. Там уже ничего нельзя переделать.

А «Со мною вот что происходит» продолжало жить, ибо то, о чем оно было написано, происходило опять и опять, и не только со мною. Сначала оно неожиданно чарующе прозвучало по-немецки, переведенное в ГДР, и нечаянно наложилось на тему разделенности уже не двух людей, а целого народа Берлинской стеной.

Через несколько лет это стихотворение вынырнуло песней в фильме Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» и запелось под гитару в студенческих и рабочих общежитиях, у туристских костров. Позднее это, казалось бы самое интимное, стихотворение независимо от моей воли начало превращаться в ностальгически гражданское, когда столькие духовно близкие люди оказались географически отшвырнутыми друг от друга. Его очень часто про-

сят прочесть на моих выступлениях наши бывшие соотечественники, разбросанные сейчас по всему земному шару – и в Израиле, и в США, и в Австралии, и в Германии. Впрочем, я непозволительно оговорился – соотечественники не бывают «бывшими».

А сейчас, когда я выступаю в так называемом ближнем зарубежье, где в насильственном положении «иностранцев» вдруг очутились столькие русские, особенно горько стали звучать мои строки, написанные тогда, когда я и предположить не мог, что Советского Союза не будет.

О, кто-нибудь,
приди,
нарушь
чужих людей соединенность
и разобщенность
близких душ!

Вот как мой личный дневник порой невольно превращается в дневник века. Невольно, но не случайно.

Выданные или ненаписанные страницы иногда прирастают.

2. Ни с болонками, ни с овчарками

Мандельштам писал: «Мне на плечи бросается век-волкодав». Мандельштама, да и многих других, этот век безжалостно придушил. Но тогда двадцатый век был еще молодым волкодавом, во цвете сил. К счастью для нашего поколения, когда мы, перестав быть детьми, стали молодыми, век-волкодав постарел, его зубы начали крошиться. Он еще время от времени бросался на нас, но хватка была уже не та. На наше счастье, эпоха явилась к нам не только в образе волкодава, но и в образе волчицы, выкормившей нас. Шестидесятники – это маугли социалистических джунглей.

Я писал не чернилами, а молоком волчицы, спасавшей меня от шакалов. Не случайно я был исключен из школы с безнадёжной характеристикой – с «волчьим паспортом». Не случайно на меня всегда бросались, чуя мой вольный волчий запах, две собачьи категории людей, утробно ненавидящие меня, а заодно со мной и друг друга, – болонки и сторожевые овчарки (профессиональные снобы и профессиональные «патриоты»).

Я счастлив, что с таким же «волчьим паспортом» я «исключен» из всех тусовок – я не принадлежу ни к одной партии, ни к одной мафии, ни к нашему выпендрёжному бомонду, который только прикидывается независимым, а на самом деле болтается между партиями и мафиями. Я ни с болонками, ни с овчарками.

«Волчий паспорт» – вот моя судьба.

3. Негр на мосту

Герой книги – вовсе не Евтушенко, а двадцатый век, увиденный его глазами.

Но одновременно это и Евтушенко, увиденный глазами двадцатого века. Глаза эти разные.

Любящие. Ненавидящие. Верящие. Недоверчивые. Полные благодарных слез. Недоумевающие. Издевательски ухмыляющиеся. Сопереживающие. Гаденько злорадные. Впервые увидевшие меня в своей и моей молодости, но не забывшие.

В 1987 году я повез мою юную жену Машу на смотрины к Олегу Целкову в Париж. Она была первый раз в этом городе, и разве было возможно не показать ей Эйфелеву башню! Было раннее, чуть сиреневое субботнее утро, когда мы шли с Машей по Парижу, еще совершенно пустому. Мы переходили старенький, ссутулившийся мост над Сеной.

На мосту никого не было, и только силуэт Эйфелевой башни, уменьшенный расстоянием, маячил вдали. И вдруг, перегораживая этот силуэт, в конце моста выросла здоровенная фигура седобородого негра в черном длиннополом пальто и ярко-красном шарфе, развевающимся на ветру, как язык пламени. Негр был похож на чернокожего Хемингуэя.

Негр не приближался к нам, а надвигался на нас. А по мере этого «надвигания» его лиловые губы отворялись все шире и шире, и в них, как кукурузный початок, сверкала изумленная крупнозубая улыбка, а руки постепенно раскрывались навстречу нам. Негр уже не шел, а бежал, распахнув руки для объятий, и из уст вырвалось задыхающееся:

– Эв-ту-чен-ко!

Он сжал меня так, что у меня хрустнули кости, лихорадочно вытянул из грудного кармана бумажник, из бумажника – какое-то заламинированное удостоверение и почему-то начал совать его мне с настойчивостью сумасшедшего, что-то сбивчиво восклицая по-французски.

Я оторопело взял удостоверение в руки и вдруг увидел, что это не удостоверение, а заламинированная вырезка из французской студенческой газеты 1962 года с переводом моего стихотворения «На мосту».

Из беспорядочного потока слов я понял, что он архитектор с Берега Слоновой Кости, а в том далеком году был студентом Сорбонны, слышал меня в зале «Мютиалите» и с тех пор (уже 25 лет!) носит эту вырезку с собой.

Поразительным было то, что встретились мы с этим негром на мосту в Париже, а стихотворение так и называлось «На мосту» и тоже было о Париже:

Женщина с мужчиною одни
на мосту у сонной синей Сены
над пустынным смыслом толкотни,
над огнями призрачными всеми...

Маша, став моей женой, поначалу была ошеломлена тайным или явным недоброжелательством ко мне в так называемой литературной среде – особенно со стороны тех людей, которым я в то или иное время чем-то помог. А потом привыкла и однажды мне сказала:

– Не бери это в голову. Они тебе не могут простить, что в их жизни никогда не было и не будет этого негра на мосту...

4. Я родился в рубашке – в смирительной

Этот «негр на мосту» в моей жизни мог быть вылезающим из канавы подвыпившим слесарем с васильковыми глазами на станции Зима, девушкой, стирающей в ручье на Бобришном Угоре под мою песню «Ах, кавалеров мне вполне хватает...».

Я не такой уж уникальный поэт, но уникальна моя судьба. Я был во всех республиках СССР, во всех областях и краях России, побывал в 94 странах, и мои стихи переведены на 72 языка.

Мне удалось увидеть жизнь от самого дна до самого верха, и я понял, что на дне гораздо чище.

Жизнь подарила мне такую всемирную прижизненную славу, которая не выпадала на долю поэтов гораздо лучших, чем я.

Когда мне вручали премию Джованни Боккаччо в Тоскане, я вспомнил мандельштамовское: «от молодых воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане» – и у меня защемило сердце, как будто я получал что-то, на самом деле предназначавшееся Мандельштаму, замученному в сталинских лагерях.

Если пишешь стихи, достаточно вспомнить хотя бы Данте, Шекспира, Пушкина, чтобы не зазнаться. Но какая самая большая аудитория была при жизни у Пушкина? Человек сто – сто двадцать на лицейском выпускном вечере. Если бы в 1837 году существовал телеграф, то стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина было бы перепечатано всеми крупнейшими газетами мира.

Почему же это произошло именно с моими стихами, когда я написал и чудом пробил сквозь цензуру «Бабий Яр», «Наследники Сталина»? Только из-за развития средств связи?

Из-за них тоже, но мало ли стихов сейчас печатается на свете, и порой гораздо лучших, чем мои, а средства связи все развиваются – вот уже и имейл появился, и Интернет...

Мне повезло.

Я родился в рубашке. Она оказалась смирительной, но я сумел ее разодрать...

Цензура стала моим невольным соавтором, ибо вынуждала меня быть более метафоричным, чем я на то был изначально способен, и, удушая меня как поэта, помогла мне стать больше, чем поэт. Произошло феноменальное совпадение истории и стихов.

В середине двадцатого века земной шар был расколот надвое противостоянием так называемых двух миров.

Не видя друг друга сквозь железный занавес, люди и с той и с другой стороны параноидально начали лепить в своем воображении «образ врага».

Но вдруг из недавно похоронившей Сталина России раздался ломающийся юношеский голос:

Границы мне мешают.

Мне неловко

не знать Буэнос-Айреса,

Нью-Йорка.

Этот голос был сразу услышан сначала у нас, а потом и во многих других странах, потому что совпал с назревшим чувством опасной неестественности расколотого мира.

Поэты нашего поколения снова прорубали окно в Европу и теперь уже – в Америку. Но для Европы и Америки это окно оказалось окном в Россию – не в интуристовскую, с ансамблем «Березка» и одноименными магазинами, а окном, которое «выходит в белые деревья».

5. Евтушенко? Что это?

Про нас, шестидесятников, порой сквозь зубы говорят, что наша смелость была «санкционированной». Это зависть к тому, как нас любили. Нам никто ничего не дарил – мы брали с боем каждый сантиметр территории свободы. Сейчас ее распродают по гектарам.

Как вы увидите по архивным материалам этой книги, за мной шпионили не только мелкие стукачи, но председатели КГБ Семичастный и Андропов. Они считали меня, и не только меня, «антипатриотом». Но есть патриотизм правительства, а есть патриотизм Отечества.

Обвиненные официальными «патриотами» в недостатке патриотизма, «Доктор Живаго», «Летят журавли», поэзия нашего поколения, «Один день Ивана Денисовича», Сахаров на самом деле заставили весь мир взглянуть на нашу страну с уважением и ожиданием.

Какое общественное мнение существовало у нас сразу после смерти Сталина?

Общественным мнением и не пахло.

Многие лучшие люди страны, чьи личные мнения могли бы стать общественным, были уничтожены именно по этой причине. Сахаров в то время был засекреченным ученым – узником своих привилегий и, по его собственному признанию, плакал, когда умер Сталин. Солженицын и Копелев были в одной «шарашке» за колючей проволокой. Никакого «правозащитного» движения и в помине не было, да и латинское слово «диссидент», когда-то употреблявшееся в России, было позабыто.

И вдруг появился какой-то мальчишка со станции Зима, а вслед за ним еще несколько худеньких фигурок, называвших себя поэтами, и начали себе «позволять», требовать, чтобы были открыты пограничные и цензурные шлагбаумы.

Поэты моего поколения, сами того не осознавая, стали родителями нашего воскрешенного общественного мнения. Стихи опять, как в пушкинские и Некрасовские времена, становились политическими событиями. Старый сталинский лис Микоян рассказал мне, как в 1955 году ехал по Якиманке и вдруг увидел толпу у Литературного музея, перегородившую правительственную трассу.

– Что тут происходит? – спросил он, высунувшись.

– Евтушенко, – ответили ему из толпы.

– Евтушенко? Что это? – спросил он.

– Как – что? Поэт...

Микоян признался:

– Я впервые увидел очередь не за продуктами, а за поэзией. Я понял, что началась новая эпоха.

Она и вправду начиналась.

Дубчек мне рассказывал, что, приезжая в Москву, он с превеликим трудом доставал по несколько экземпляров тоненьких книжечек поэтов нашего поколения и привозил их единомышленникам в Прагу. Но Пражская весна была раздавлена брежневскими танками, а вместе с ней и наши надежды на социализм с человеческим лицом.

В этих надеждах нас многие упрекают. Но еще неизвестно, будет ли человеческое лицо у нашего капитализма. Пока что на это не похоже.

А почему, собственно, мы должны ориентироваться только на социализм и капитализм? Почему не на нечто третье, еще не имеющее имени, но, может быть, уже толкающееся ноженками в лоне человечества?

И социализм в нашем исполнении, и капитализм в нашем и «ихнем» исполнении достаточно скомпрометированы. Почему бы не вспомнить сахаровскую идею конвергенции – то есть соединения всего лучшего, что было в этих системах, отвергая их преступления

и ошибки? Общественное мнение, когда-то воскрешенное нами, сейчас не распалось, но расслоилось, как наше общество. Раньше государство диктовало общественному мнению, каким оно должно быть, – то есть создавало его видимость. Но как добиться, чтобы общественное мнение диктовало государству линию его поведения? Свобода слова у нас есть – впервые за всю историю России. Но у политики уже выработался иммунитет – свободы игнорирования свободы слова.

Трагедия интеллигенции состоит в том, что мы вообще плохо представляли, что может произойти, и оказались неподготовленными к событиям, которые сами и подготавливали.

Хотя я и сам предсказывал гибель советской империи еще в 1972 году, «собою были мы разбиты, как Рим разгромлен был собой», я не представлял, что это может произойти на моих глазах. Я принадлежал к тем, кто подталкивал Россию, как грузовик, застрявший в грязи, но, когда нам удалось раскатать ее, она вырвалась из наших рук и стремительно и устрашающе пошла вниз, как с горы.

История обогнала не только Горбачева, но и всех нас вместе с ним, обдав наши лица грязью из-под колес.

Советская империя, потеряв управление, ударилась о самую страшную скалу – вакуум – и разбилась.

К несчастью, надежды народа, обманутые коммунистической революцией, пока еще остаются обманутыми и революцией антикоммунистической. А может быть, нет таких революций, которые не обманывали бы людей? Неужели всем идеалам суждено быть недостижимыми?

Но в чем же тогда смысл жизни – в растительном существовании? Это же страшно.

Часть либеральной интеллигенции, которая достойно вела себя во времена номенклатурного коммунизма, вдруг с растерянной услужливостью засуетилась перед лицом капитализма. Этот наш «коммунизм» был зверь хорошо известный, хотя и опасный. Но отечественный капитализм предстал как хищник, доселе невиданный, более пугающий. Именно поэтому столькие начали заискивать перед ним, как, впрочем, и перед новой властью.

Один известный сатирик даже бросил своего рода лозунг: «Хватит лить помой вверх!» Значит, вниз можно? А нужно ли вообще лить помой? Другая часть либеральной интеллигенции, наивно попытавшись полюбить новую власть, в конце концов отдалась из-за ее непоследовательности, из-за невыполнения стольких обещаний, из-за войны в Чечне.

Но дистанция между властью и интеллигенцией не менее опасна, чем их слияние. Впрочем, может быть, мы ждем от власти, от политики слишком многого, ибо где-то в глубине многие из нас неизлечимо «советские люди»?

6. Я – последний советский поэт

Бродский был первым совершенно несоветским поэтом из тех, кто родился в советское время. А я был последним советским поэтом. Но советская власть сделала все сама, чтобы выбить из меня эту «советскость».

Я принадлежу к тем шестидесятникам, которые сначала сражались с призраком Сталина при помощи призрака Ленина. Но как мы могли узнать, раздобыть архивные материалы об ином, неизвестном нам Ленине, которые пылились за семью замками? Как мы могли прочесть «Архипелаг ГУЛАГ» до того, как он был написан? Мы не знали, что под декретом о создании Соловков – первого догитлеровского концлагеря – стояла подпись Ленина, что именно он отдавал безжалостные приказы о расправах с крестьянами, не знали о его неприимости к инакомыслящей интеллигенции. Многие его записки Дзержинскому, Сталину, депеши, указания скрывались. Излечение от идеализации Ленина было для меня и многих других мучительным. Понимая революцию как «мсть за брата», Ленин сам не заметил, что начал мстить всему народу, а не только царизму, казнившему его брата. Трагедия Ленина была в том, что Сталин, которого он так возненавидел в конце жизни, действительно оказался его верным учеником.

Но это мне предстояло понять в восьмидесятых, а не в шестидесятых. Я любил тот красный флаг, под которым воевали с фашизмом не только Василий Теркин, но и Виктор Некрасов, и Лев Копелев, и Булат Окуджава.

Я любил не номенклатурный, а личностный Советский Союз, где у меня было столько друзей во всех республиках. Я любил и до сих пор люблю «Интернационал» – не как партийный гимн, а просто как песню.

Но в рефрене «кто был ничем – тот станет всем» есть опасная двусмысленность. Если тот, кто был на самом деле ничем, становится всем – это страшно.

Так было после Октябрьской революции, и, к несчастью, так случилось и после событий в августе 1991 года.

7. Они уже всё взяли

19 августа 1997 года мимо Белого дома, пыхтя, но с наслаждением отдуваясь, торжественно двигалась молодая пара с покупкой. Оба коротенькие, толстенькие, крепенькие, краснощекастые – они тащили зеркало в овальной раме из карельской березы, то и дело заглядывая в него и подмигивая своим жизнерадостным отражениям.

В такт их шагам в зеркале, вздрагивая и подтанцовывая, покачивался Белый дом, который, казалось, мог разбиться вместе с зеркалом, если бы они его уронили. А еще в этом зеркале на мгновение возникла стоящая с несколькими понурыми трехцветными флагами перед железной решетчатой оградой невеселая горстка людей, пришедших отмечать шестую годовщину своей победы.

За шесть лет двухсоттысячная толпа, которой я когда-то читал свое стихотворение с балкона Белого дома, съежилась до этой горстки. Милиционеров, пришедших их охранять, было больше, чем демонстрантов.

Краснощекастая пара остановилась около своего новенького «вольво», припаркованного неподалеку, и начала бережно всовывать зеркало в машину, усадив его на заднее сиденье, как почетного пассажира, и прижав к спинке, чтобы не упало, картонным ящиком с американской консервированной жидкостью «будвейзер», неизвестно по какому праву называющей себя пивом.

Когда я проходил мимо, у моих ног что-то звякнуло о тротуар. Я нагнулся и поднял сверкающую золоченую пуговицу с буквой «V», оторвавшуюся от клубного пиджака упавшегося владельца зеркала. Его небольшая быстрая рука со слишком крупным для нее перстнем-печаткой буквально слизнула пуговицу с моей протянутой ладони.

Другая пара, спортивно-долговязая, с каким-то явно ненашенским, особенно нежным, чуть золотистым средиземным загаром, припарковавшая рядом свою «мазду» с благословленными именем самого Агасси теннисными ракетками под задним стеклом, заинтересовалась:

– Где это вы такое зеркальце оторвали, а?

Коротышка-мужчина из «вольво» охотно ответил с интимной классовой близостью:

– Да вон в том доме, у одного писателя... А я его в школе когда-то проходил... Вот оно как все перекувырнулось...

И не без гордости назвал одну очень известную фамилию.

– А у этого писателя ничего старинненького не осталось? – поинтересовались из «мазды».

– Мы что, дураки? Мы всё уже взяли, – ответил коротышка из «вольво». И зеркало поехало к новым хозяевам.

«Они уже всё взяли... Они уже всё взяли...» – повторялось во мне, когда я, идя на прием в Белый дом, то и дело протягивал пропуск и документ то у ворот, то у дверей, то внутри коридора. Незлые, но на всякий случай недоверчивые глаза солдат охраны скрупулезно сверяли мое лицо с фотографией на удостоверении.

По коридорам целенаправленно и почти бесшумно ходили люди среднего возраста – многие из них с кейсами преимущественно цвета «бургунди», в клубных пиджаках с буквой «V» на золоченых пуговицах и в многоцветных галстуках, еще непривычных зеркалам этих советских номенклатурных коридоров.

А я вспомнил о другом зеркале.

8. Бреясь перед зеркалом Блока

Рассказывали, что, когда Александр Блок приехал в свою усадьбу во время революции, которую он сам апокалиптически пророчил, он увидел только руины и пепел. Вдруг среди руин что-то блеснуло. Это были осколки семейного зеркала.

Блок подобрал самый большой осколок и целый день ходил с ним по пепелищу, будто надеясь на то, что этот уцелевший осколок спрячет в своей глубине хотя бы кусочек истории.

Обросшие щетиной красногвардейцы, словно сошедшие со страниц его поэмы «Двенадцать», приказали великому поэту остановиться и подержать осколок зеркала перед ними, пока они побреются.

Апостолы революции в пулеметных лентах на груди крест-накрест были не совсем довольны, что на этом осколке чернела копоть пожара, затуманивающая их полные революционной непримиримости лица, и они, недовольно чертыхаясь, протирали зеркало татуированными ручищами и краями тельняшек. А поэт оставался в роли Хранителя Зеркала.

Что такое русская литература?

Это – разбитое войнами и революциями зеркало, чьи осколки все-таки снова срослись, сохранив в глубине все, что в нем отражалось.

Ленин назвал Толстого «зеркалом русской революции», этим определением сразу его ограничив до односторонней убогости. Литература – это зеркало и революций, и контрреволюций.

В глубине этого зеркала и груды оленей, убиенных царской аристократией, даже не подозревающей о том, что скоро такими же грудями они будут лежать сами, убиенные собственными бывшими крепостными. В этом зеркале Россия то со слабовольным, безжизненным лицом Николая Второго, то с хитроумно-сумасшедшими глазами Распутина, то с адвокатской жестикуляцией Керенского, то в парике загримированного Ленина, то с трубкой Сталина, сквозь которую дымом вышло больше человеческих жизней, чем в трубы газовых печей Освенцима, то со смекалистой картошинкой хрущевского носа, то с магнетическими глазами-лампочками Горбачева, впрочем вскоре перегоревшими, то с вырубленным из уральского камня ельцинским подбородком, иногда почему-то кажущимся, по боксерской терминологии, стеклянным.

Есть русская пословица: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». Но история – та редкая женщина, которая не любит смотреться в зеркало. Она все протирает и протирает его, будто может исправить свое лицо.

Сам двадцатый век девальвировал все учебники истории двадцатого века.

В предсказательстве ошиблись все – и Ленин, считавший, что коммунизм неизбежен, и Троцкий, с его тезисом о перманентной революции, и Сталин, с его идеей реализации аракчеевского марксизма в отдельно взятой стране, и Хрущев, с его обещанием вырыть капитализму могилу, и Солженицын, мрачно суливший завоевание мира коммунистами, и Горбачев, безнадежно пытавшийся спасти либерализацией антилиберальную по сути систему, и Ельцин, обещавший выкорчевать все привилегии. Пророчества льстят самолюбию. Я и сам совершенно искренне писал в «Братской ГЭС»: «Сквозь войны, сквозь преступления, но все-таки без отступления идет человечество к Ленину, идет человечество к Ленину». Но ленинизированная часть человечества вдруг увидела, что в направлении указующей со множества пьедесталов руки – тупик, и поспешно начала выбираться из него.

Бойтесь указующих рук, даже если они показывают в сторону, противоположную прежнему тупику. Там с ухмылочкой близнеца-хитреца вас может поджидать другой тупик. В нем тоже могут оказаться и просто грязные лужи, и лужи крови.

Однажды я наткнулся на фотографию юного царевича Алексея с его добродушно-усатым дядькой-матросом. Рядом был велосипед специальной конструкции, чтобы предохранить от падения мальчика, страдавшего гемофилией. Но теперь мы знаем то, чего не знает мальчик на фотографии. Мы знаем, что этот дядька-матрос предаст своего воспитанника, присоединится к тем, кто издевался над царской семьей. Но многие из тех, кто расстреливал царскую семью, окажутся расстрелянными сами. Неостановимость крови – гемофилия – это национальная болезнь России. Она берет начало во времена татаро-монгольского ига, когда русские князья бесконечно сражались друг против друга, вместо того чтобы объединиться. Тогда и зародилась национальная традиция, которой не стоит гордиться, – привычка к проливаемой русскими русской крови.

Социализма у нас никогда не было. Под псевдонимом социализма у нас образовался скрытый феодально-монархический строй. Разве Сталин не был царем, а секретари обкомов – феодалами? Под псевдонимом СССР скрывалась все та же российская империя. Феодальный социализм, убив царевича Алексея, вместо него стал наследником престола, унаследовав гемофилию. Демократия у нас пока тоже феодальная, гемофильная. Кровь продолжает неостановимо литься – и вокруг России, и внутри, – кровь национальных конфликтов на бывших окраинах империи, кровь в Чечне, кровь междоусобицы между парламентом и президентом, кровь заказных убийств.

Россия всегда была страной высочайшей культуры, но одновременно страной политического бескультурья. К собственной свободе мы отнеслись некультурно. Свобода людей, недостойных свободы, опасна для них самих. Герцен писал: «Нельзя людей освободить больше, чем они освобождены внутри».

Не хотелось бы, чтобы какой-нибудь поэт XXI века, подобно Александру Блоку, бродил по руинам с обломком зеркала, в котором отражаются только трупы и пепел.

Я бы хотел, чтобы мы взглянули в зеркало истории и увидели бы там только такие собственные лица и лица наших детей, на которые не стыдно смотреть.

9. За что нам не стыдно

За что нам стыдно, мы все знаем.

Но разве нам должно быть стыдно за то, что мы избавили человечество от страха третьей мировой войны? (Хотя любой матери, теряющей сына, все равно, где она его потеряла – на мировой войне или на локальной, где-нибудь в Чечне или в Таджикистане.)

Нам не должно быть стыдно за то, что мы больше не боимся «черного ворона», который может любого из нас увезти на Лубянку или в психушку (хотя мы боимся быть ограбленными и убитыми на улице или в собственном доме).

Нам не должно быть стыдно за то, что больше нет только одной-единственной партии, которую мы обязаны любить с детского сада (хотя трудно полюбить даже одну из, кажется, полусотни зарегистрированных партий).

Нам не должно быть стыдно за то, что какой-никакой, а все-таки существует выбор при голосовании в Думу или за Президента (хотя порой хочется увидеть в списке кого-то иного, кто, может быть, еще не родился).

Нам не должно быть стыдно за то, что больше нет политической цензуры (хотя есть цензура коммерческая, переходящая в политическую), за то, что нет очередей в магазинах (хотя есть очереди безработных, ищущих трудоустройства), за то, что нет унижительных выездных комиссий (хотя большинству нашего народа невесело знать, что ты можешь съездить в Париж, но на это не наскребешь денег за всю жизнь).

Нам не должно быть стыдно за то, что, если ты верующий, ты можешь не скрывать свою веру и ходить в любую церковь, мечеть, синагогу или костел, и тебя никто за это не будет преследовать (хотя многие из самих священников нетерпимы к другим религиям, одновременно подторговывая табачком и собственной лояльностью властям).

Нам не должно быть стыдно за то, что в магазинах сейчас есть все (хотя одновременно стыдно, что почти все не наше).

Все это, конечно, очень несовершенно, а порой и хрупко. Но не надо забывать, что **ВСЕГО ЭТОГО ЕЩЕ НЕДАВНО НЕ БЫЛО И НЕ МОГЛО БЫТЬ.**

Нам не надо возвращаться ни в наше давно, ни в наше недавно.

Нам надо думать о том, чего еще не было, но должно быть.

О том, за что не будет стыдно.

Между стыдом и страхом есть два промежуточных состояния. Одно из них – это страх стыда, другое – стыд страха.

Некоторые люди, страшась возвращения прошлого, предпочитают страху стыд и лишь пытаются выбрать из двух зол меньшее. Это «поддержка с грустным вздохом». Но маленькое зло имеет опасное свойство вырастать на дрожжах такой поддержки в зло большое. История показывает, что один и тот же человек в разных периодах может быть пробудителем общества, а затем сам может стать тормозом разбуженных им сил. События очень часто обгоняют людей, которые были во главе событий. В истории важно не только вовремя появиться, но и вовремя уйти, желательно передав бразды правления в надежные руки. Уровень демократии определяется именно спокойствием передачи власти.

В истории России еще не случилось такого естественного плавного перехода.

Хрущев, не расправившись физически со своими противниками – Маленковым, Молотовым, Кагановичем и анекдотически звучащим «примкнувшим к ним Шепиловым», создал прецедент, спасший его самого, когда он был скинут, но неправдоподобно остался жив, ходя в театры и потихоньку надиктовывая мемуары. Однако из политической жизни он был изгнан.

Горбачев был автором таких серьезных перемен в обществе, которые не позволили его политически изолировать, хотя, может быть, Ельцину этого и хотелось. Горбачев неудачно, но все-таки баллотировался в президенты России, он выступает со сдержанными, но откровенно оппозиционными интервью, постоянно ездит за границу. Это нормально в нормальном государстве, но в Российском неслыханно!

А может быть, постепенно это тоже станет нормальным?

Вся история России – история политических землетрясений. В сейсмически опасных районах строители обычно предусматривают особую структуру фундамента. Сейчас главное – выработать инфраструктуру, позволяющую независимо от того, в чьи руки переходит власть, избегать разрушений. Так будет спокойней и россиянам, и человечеству.

19 августа 1991 года прошлое хотело опять въехать на танках в настоящее и будущее России.

Ельцин сыграл тогда историческую роль.

Тогда я не мог и представить, что начнется война в Чечне и я откажусь получать орден «Дружбы народов» из рук президента, отдавшего приказ о начале этой войны.

Я не мог представить, что в 1993 году российские танки в центре российской столицы начнут палить по российскому парламенту.

У Ельцина есть решающий для его окончательной исторической репутации шанс – создать прецедент плавного перехода власти из рук в руки. Если он выполнит свое обещание и станет первым правителем России, добровольно передавшим скипетр в руки выбранного народом преемника, возможно, вся история России с этого момента изменится.

Но чьи это будут руки?

Не важно чьи – лишь бы они были чистые.

10. Нельзя играть плохо на таком стадионе, как Россия

– Никак Евтушенко? – раздался женский голос, когда я шел по коридору Белого дома 19 августа 1997 года.

Я настолько был занят мыслями, что никого в этот момент не замечал, и, подняв голову, увидел небыльщицу женщину в рабочем халате, протиравшую ручки высоченных дверей одного, видимо важного, кабинета. Фамилия на кабинете была мне незнакома.

– Постарел ты... – сказала женщина и вздохнула. – Все мы постарели...

Но, несмотря на «гусиные лапки» у глаз, сами глаза у нее были живые, девчоночьи, незамужние.

– Я тебя с того самого, как его... пучка не видела... (Она так именно и сказала – пучка.) А что тут в октябре девяносто третьего делалось – господь не приведи. Вы вот из-за политики ссоритесь, канализацию перекрываете, а мы, уборщицы, всем этим дышать должны... А ты что-то сюда давненько не заходил...

– Да как-то незачем было, – сказал я правду.

Я шел на прием к одному из первых в стране по так называемому рейтингу так называемой общественной ненависти человеку. Впрочем, кто составляет эти рейтинги и как – для меня всегда было загадкой. Однажды в рейтинге поэтов одного постмодернистского альманаха я нашел себя на восемьдесят девятом месте, что тоже неплохо – как-никак первая сотня. Но вот Булат Окуджава верил в этого человека, к которому я шел. Я последний раз разговаривал с этим человеком года три назад. Он уже тогда занимал крупную государственную должность, хотя ютился в крошечном кабинете.

Во время того разговора я процитировал ему недавно написанные строки:

Не снизойдет спасенье из Москвы.
Оно взойдет по Вологдам,
Иркутскам.
Спасенье будет медленным,
лоскутным,
но прирастут друг к другу лоскуты.

Он вдруг встрепенулся:

– Где можно достать эти стихи?

Я ему сказал, где они были напечатаны, и попрощался, будучи уверенным, что он сразу про это забудет.

С той поры много воды и крови утекло, а на него было вылит много ушатов грязи. Его то снимали, то назначали, то переназначали. В одной газете его называли «обманщиком народа». Я, правда, плохо его знал, но, кажется, он не подходил под это определение. А вдруг, не желая никого обмануть, он обманулся сам? Разве история порой предательски не обманывает даже самых умных людей? Для того чтобы понять другого человека, надо представить себя в его шкуре, на его месте. Мы с непозволительной легкостью называем чужие ошибки злым умыслом. Сталинская паранойя сидит даже в антисталинистах. Но, может быть, я настолько боюсь ошибиться в плохую сторону, что всегда ошибаюсь наоборот?

На сей раз мне пришлось его немного подождать.

В прихожей на вешалке был готов к дороге костюмный мягкий чемодан на молнии – сразу после разговора со мной этот человек должен был лететь на похороны его студенческого друга, убитого снайперской пулей.

– Вы были на открытии нового стадиона? – спросил я в середине разговора.

– Мне не до футбола, – сказал он, не жалуясь, но невесело. В нем всегда была сдержанность, под которой, как я предполагаю, скрывается раненость нелюбовью стольких людей. Но он эту нелюбовь переносил с достоинством.

– Новый стадион красив, ничего не скажешь... – продолжал я. – А вот играли наши со сборной мира позорнейше – даже не пытались выиграть... Президент сначала сиял, а потом скис – его даже показывать перестали... Знаете, какая метафора у меня возникла: Россия с ее бескрайними просторами – это, в сущности, гигантский прекрасный стадион. На таком стадионе нельзя играть плохо. А мы этот стадион позорим...

– А что нужно сделать, чтобы играть лучше? – спросил он, смертельно устало, но внимательно.

– Помните: в начале было Слово, и Слово было Бог. Нужны слова, которые бы придали смысл жизни, объединили бы людей. Посмотрите на иностранных спортсменов – с какой самозабвенностью они шепчут на стадионах слова своих национальных гимнов, когда поднимается их флаг... А мы уже столько лет мычим наш бессловесный гимн, аки жвачные животные... Мы не знаем, куда мы идем, и поэтому не знаем, какие у нашего гимна должны быть слова... Но дело не только в гимне... Какое общество мы строим? Ради чего живем? У нас в стране сейчас никто не говорит слов, которые могут вдохновить, запомниться навсегда, стать формулами смысла жизни...

– Не спрашивай у своей страны, что она может сделать для тебя, спроси себя, что ты можешь сделать для своей страны... – со вздохом и некоторой завистью процитировал он Джона Кеннеди. – Это он сам написал или его спичрайтеры?

– Может, и сам... А может быть, Артур Шлезингер. А может быть, вместе... Главное, что это было сказано и забыть этого нельзя...

– Но это вы, писатели, должны писать то, чего нельзя забыть...

– А забывать нас, писателей, можно? Вы прочли мое открытое письмо президенту, премьер-министру и вашей троице об отчаянном положении многих литераторов?

– Какое письмо? – вздрогнул он, и я почувствовал, что он не притворяется. – Я, правда, был в отпуске, но как же они мне не положили его на стол?..

– А президенту тоже не положили?

Выдержка на мгновение покинула его. Он стиснул виски ладонями и прошептал, как будто понимал, что его могут подслушивать и в собственном кабинете:

– У нас самая тупая бюрократия. Ее ничем не пробьешь...

Потом он попытался улыбнуться:

– Ничего, пробьемся...

– Вы нашли то мое стихотворение, которое я вам процитировал три года назад? – спросил я.

– О лоскутном одеяле? Разумеется, нашел, – ответил он, прощаясь, и добавил: – За многое, конечно, стыдно. Но все-таки подвижки есть...

Я шел по коридору и думал: «Что он за человек? Можно ли быть чистым в политике? Имеем ли мы право окончательно судить о людях, которым еще, может быть, многое удастся сделать? А кто такие мы все? Это когда-нибудь скажет только история...»

Был уже глубокий вечер. Коридоры Белого дома заметно опустели, и только вдалеке что-то размеренно пошумливало.

Это была та же самая уборщица, катящая пылесос на резиновых колесиках.

Она по-свойски крикнула мне сквозь подвывание пылесоса:

– Надо бы тебе про нас, про уборщиц Белого дома, стихи написать. Я тебе такие темы подкину – закачаешься...

11. Мне не жалко советской власти

Мне не жалко советской власти, потому что ей не было жалко миллионов загубленных ею людей. Она должна была развалиться, как царизм, которому людей тоже не было жалко. Отсутствие жалости к людям какой-либо государственной системы в конце концов оборачивается безжалостностью людей к данной системе. Пусть это помнит, как предупреждение, сегодняшняя система, еще незаслуженно называющая себя демократией, ибо она, к сожалению, унаследовала от советской власти безжалостность к людям. Какая разница, как называет себя безжалостность – социализмом, или капитализмом, или еще как-нибудь. Двадцать первый век на пороге. Чего бы я от него хотел? Я хотел бы, чтобы он научился жалеть людей.

12. Прощание с двадцатым веком

Я расстаюсь с двадцатым веком, как сам с собой.

О некоторых людях говорят с восторженным придыханием: «О, это человек девятнадцатого века...» Про меня так сказать невозможно. Я человек только двадцатого века.

Такой «несовместимый» поэт, в котором революционно-романтические иллюзии так перепутаны с их опровержением, мог появиться лишь во второй половине этого века и лишь в России, не в дореволюционной, а только в советской – однопартийной, подцензурной, трудновъездной. Я благодарен двадцатому веку, потому что другого у меня не было.

Во мне – болезни этого века, его надежды, заблуждения, страхи, его ограниченность, суматошность, и припадки то неуверенности, то мегаломании, и наивная, но, слава богу, неизлечимая вера в то, что братство людей все-таки возможно.

Мы оба – и двадцатый век, и я – не подходим ни только под положительную, ни – я надеюсь – только под отрицательную мерку. Но двадцатый век и меня не разорвешь. По выражению Цветаевой, «мы – сросшиеся».

Жизнь как приключение

1. Почему я не играю в карты (рассказ по рассказу моего отца)

*И, кончив недобрую драму,
Насмешливо бросить в века
Последнюю эпиграмму
С подножия Маиука...*
Александр Гангнус. 1932

В ночь с 17 на 18 июля 1932 года двадцатидвухлетний геолог из Москвы Александр Рудольфович Гангнус, с мягкими карими глазами и с такими же мягкими манерами недобитого интеллигента, играл в очко с начальником сибирской станции Нижнеудинск в его прокуренном кабинете.

Со стены за ними неодобрительно наблюдал портрет Сталина, которого тогда уже начинали называть вождем, и даже великим, с легкой, но неосторожной руки еще не расстрелянного Карла Радека.

Сквозь висящие на окне липучие ленты, облепленные погибшими мухами, на противоположной стороне маленькой привокзальной площади с чахлыми деревцами и посеребренной карликовой фигуркой Ленина молодой геолог мог видеть светящийся не всеми, но некоторыми окнами родильный дом, где в этот момент мучилась схватками его жена – Зина Евтушенко, тоже двадцати двух лет и тоже геолог.

Еще находящийся в ней ребенок был зачат в прошлом году в походной палатке над Ангарой под шум волн и потрескивание медленно угасающего костра на месте изысканий будущей Братской ГЭС – той самой, о которой их сыну через тридцать с лишним лет будет суждено написать поэму.

Сразу после рождения его увезут из Нижнеудинска к бабушке, на соседнюю станцию Зима, которую он и будет по праву считать родиной.

Но пока что он, этот сын, еще не появился, и в его ожидании будущий отец коротал время за картами, в чем ему пугающе везло.

Рядом с Александром Рудольфовичем на зеленом сукне стола высилась груда выигранных им мятых денег.

За столом, уставленным пустыми бутылками из-под водки и тарелками с кладбищами окурков, погребенных в кровавом винегрете с редкими серебряными селедочными проблесками, сидело несколько крупно выпивших местных любителей острых ощущений – станционный бухгалтер, ветеринар, журналист районной газеты, но все они уже были из игры, проигравшись дочиста, за исключением самого Александра Рудольфовича и еще державшегося начальника станции – в прошлом колчаковского офицера, перешедшего на сторону красных, а сейчас постепенно спивавшегося вместе с бывшими классовыми врагами.

Лоб начальника был усеян бусинами пота, волосы слиплись, глаза потерянно блуждали. Уже несколько раз он знаком подзывал к себе бухгалтера и что-то шептал ему на ухо, после чего тот тоскливо съеживался, но послушно исчезал, а через некоторое время появлялся, передавая начальнику ниже уровня стола деньги, застенчиво обернутые в «Восточно-Сибирскую правду» с призывами к индустриализации и раскулачиванию.

В данный момент перед начальником, на дне перевернутой форменной железнодорожной фуражки с двумя перекрещенными молоточками, лежала сильно похудевшая очередная пачка денег, перехваченная резинкой, неумолимо тая с каждой новой ставкой.

Сперва начальник станции менял тактику, играя то по маленькой, то по крупной, но, оставшись один на один с обыгравшим всех москвичом, словно с цепи сорвался и начал бить только по банку, рассчитывая, что должен же когда-нибудь проиграть этот, так раздражавший своей дореволюционной вежливостью, чертов красавчик-везун с иностранной фамилией загадочного происхождения.

– Александр Рудольфович, а вы все-таки нам откройте, откуда у вас такая... как бы это сказать... пикантная фамилия?... – пьяненько, но настырно пытался просверлить его журналист – Пимен районного значения. Если бы он знал, что лет через сорок, уже в глубокой пенсионной старости, будет пытаться описать эту ночь во всех подробностях, то, наверно, тогда пил бы меньше.

– А откуда у вас эта рубиновая заколка на галстуке? – не досадуя на его любопытство, но и не поощряя, улыбнулся Гангнус.

– Какая рубиновая заколка? – испуганно вздрогнул районный Пимен-журналист и, наконец догадавшись, обиженно и несколько разочарованно стряхнул алую винегретину с засаленного галстука.

– А вы делали когда-нибудь инъекцию хряку? Знаете ли вы, что такое жизнь районного ветеринара! А если не знаете, то можете ли понять душу России?! Согласитесь, Александр Рудольфович, что фамилия-то ваша все-таки для нашего русского уха странная... – пытался налить водку в граненый стакан из уже пустой бутылки, почти выжимая ее, неотмываемо пахнувший свиным жиром ветеринар, которого бесило, что ему уже не на что играть. Как правило, национальным происхождением других слишком настойчиво начинают интересоваться именно те, кого что-нибудь бесит.

– Редкая... – поправил его Гангнус.

– Но все-таки, откуда у вас взялась такая фамилия? Народ интересуется... Уж простите нам наше любопытство тмутараканское, Александр Рудольфович! – заелозил бухгалтер.

– Как-нибудь в другой раз. Это длинная история... – ласково, но твердо устоял перед этим не совсем деликатным напором геолог и со вздохом товарищеской солидарности заметил начальнику станции: – Простите, у вас перебор, Виталий Севастьяныч...

Хотя геолог был совсем еще молод и просил называть его Сашей, это ни у кого как-то не получалось, и все, даже против собственного желания, невольно называли его Александр Рудольфович, да и он обращался ко всем на «вы» и тоже по имени-отчеству.

За несколько дней пребывания в этом городке с деревянными скрипучими тротуарами, где расписанные цветами гармоники вздыхали на завалинках по неизвестной, а потому заманчивой жизни, пролетающей мимо в поездах дальнего следования, молодой геолог покорила нижеудинцев чтением стихов – и своих, и чужих, похожих на кусочки чего-то неведомого, ускользающего вместе с освещенными окнами вагонов:

Вы прятались в трюме толпою безгласной
И прятали душу, дрожащую в теле.
И ветер подумал: «Вы мне неопасны...»,
И море сказало: «Вы мне надоели...»

Теперь, позабыв про весну и про смелость,
Про трусость, про душные сумерки трюма,
Вы стали другими, вы переоделись,
Вы носите из коверкота костюмы.

И вы позабыли, как где-то, когда-то,
Хватаясь за небо, за солнце, за воздух,
Вы мчались вперед на корвете крылатом,
Дорогу ища в очарованных звездах.

– Как же это, простите, можно одновременно хвататься за солнце, если ищешь дорогу в звездах! – однажды с сомнением поскреб затылок местный гинеколог, известный своим скептицизмом и поэтому слывший самым умным человеком в городе.

Однако в данном случае его чуть не разорвали на куски его нижеудинские пациентки, несмотря на то что, фигурально выражаясь, он держал тайны их самых интимных мест в своих руках. Но даже он, с их точки зрения, не имел права усомниться в одном из тех редких геологоразведочных мессий, которые время от времени нисходили откуда-то с таежных гор вместе с романтическим запахом костров в тоскующие по возвышенному крупнобревенчатые дома-крепости с тяжелыми ставнями на железных болтах, с белосахарными горками подушек на кроватях, с подоконниками, уставленными алыми геранями в горшочках и чайными грибами, похожими на заржавелых медуз, мучающихся в стеклянных трехлитровых банках.

Гангнус декламировал не заывая, а лишь чуть-чуть нараспев, не теряя ни смысл за счет музыки, ни музыку за счет смысла, слегка откинув красиво посаженную голову с аккуратно зачесанной набок челкой такого же карего цвета, как его глаза.

В карты он играл нельзя сказать чтобы не азартно – но в то же время несколько небрежно, слегка отсутствующе, не отдаваясь этой игре целиком, как будто в мыслях его шла совсем другая игра – гораздо более интересная. Это заставляло нервничать тех, кто вцеплялся в каждую новую карту как в последнюю надежду, и, может быть, поэтому они и проигрывали.

Одет он был как большинство геологов – в защитного цвета штормовку с капюшоном, в старательскую клетчатую фланелевую рубашу, в брюки из «чертовой кожи», запыленные, обитые о скалы сапоги, но все на нем выглядело элегантно-аристократически.

С начальником станции уже давно все происходило наоборот. Что бы он ни надевал, как бы ни были накрахмалены его рубашки, как бы ни были выутюжены брюки его женой – буфетчицей той же самой станции, ничто на нем «не сидело», все смотрелось мешковато. Исчезла военная выправка. Он умирал от зависти к этому Гангнусу, хотя остатки офицерской чести заставляли начальника станции понимать, что завидовать некрасиво. Он чувствовал, что опускался, оплебеивался, но ничего не мог с собой поделать. А его собственная жена ну прямо таяла от этого Гангнуса, которому в карты так везло, как будто он их тоже околдовывал, как женщин.

Вот и сейчас, хотя буфет уже давно было пора закрывать, жена начальника вальяжно полувплыла в кабинет с кокетливо воткнутым в торт ее шестимесячной завивки багряным георгином, выданным из станционной клумбы, деликатно задержалась в дверях и спросила томно-романсовым голосом:

– Мужчины, может, еще водочки под омулька? Мне только-только проводник с иркутского скорого лагушок доставил. Рыбацкий засол. Во рту тает...

Напряженно банкующий начальник станции сделал страдальчески утихомирывающий жест, пытаясь усмирить ее гостеприимство. Жене даже не приходило в ее голову с этим клумбовым георгином, насколько плохи сейчас были дела ее мужа.

– А я с удовольствием, – воскликнул Александр Рудольфович. – Обожаю омуля... Как я без омуля буду жить в Москве! – И добавил, задержав взгляд с невольной обольщающей пристальностью на могучем бюсте: – И вообще без Сибири и ее людей!

– А как мы тут будем без вас, Александр Рудольфович, – вздохнула буфетчица всем бюстом.

– Как были, так и будем... – оборвал ее начальник станции. – Шла бы ты домой...

– Ну дайте я хоть на столе приберу... – не отрываясь глазами от геолога, явно не хотела уходить буфетчица.

– Мы уж как-нибудь сами... – ерзанул на стуле изнывающий от ее незваного появления начальник станции.

– Нет, я не уйду, если не послушаю хотя бы одно стихотворение Александра Рудольфовича... – Буфетчица упрямо скрестила на груди руки. Руки были красные от стирок и мытья посуды и большущие, но на такой необъятной груди показались маленькими. – А то Александр Рудольфович сразу уедут от нас, как только ребенок родится, и от кого я тогда стихи услышу в нашей-то глухомани... Ну, Александр Рудольфович, хоть что-нибудь малюсенькое, а вообще-то, лучше, если подлиннее.

– Не смею отказать, – галантно сказал геолог, заглянув в свою карту, но отложив ее.

Мы с вами такие чужие,
А было когда-то – и нас
Смертельные бури кружили,
Но кто-то нас подленько спас.

Спасение нас унижало,
Рискованность раздавив,
А выплеск мятёжности жалок,
Как ветра ненужный порыв.

Мы с вами, и дерзко и грубо
Взглянувшие в бездну веков,
Сожмем подозрительно губы
Над лирикой чудаков.

Неслышно скользя по поэме
Холодным мерцанием глаз,
Вы – знаю я – мерили время,
Шагнувшее через нас.

Стихами про жизнь не расскажешь,
И это сказали мне вы
Под ветра удушливый кашель
На серых гранитах Невы.

– Как печально и красиво, – вздохнула буфетчица с глазами на мокром месте. – Но в одном несогласная я с вами, Александр Рудольфович. Ну чем еще можно рассказать про жизнь, если не стихами... А ведь когда-то и вы стихи писали, Виталий Севастьяныч, и даже мне посвятили одно... Да я ухожу, ухожу. – И дверь за ней закрылась неохотно и тоже печально.

– Игра, между прочим, продолжается... – на всякий случай напомнил начальник станции. – Александр Рудольфович, вы сейчас мысленно не на серых гранитах Невы?

– И там тоже... – с расстановкой сказал геолог. – Честно говоря, забыл, что у меня за карта. – И еще раз взглянул на карту, лежащую лицом вниз.

«Он и нас всех забудет, когда уедет...» – молча скрипнул зубами начальник станции.

– Ну, ваше слово...

– Да, право, не знаю, каким оно будет, это мое слово... – продолжая вглядываться в карту, но явно думая о чем-то другом, пробормотал геолог.

«Для него эти деньги – ничто, а для меня – все... И он так легко позволяет себе этого не понимать... Может быть, поэтому он и выигрывает? Такой гений, как Достоевский, проигрывал в карты, наверно, потому, что смертельно хотел выиграть, и это ослабляло даже его великий ум... Не надо ничего смертельно хотеть – это плохо кончается...» – И начальник станции постучал костяшками пальцев по столу. – Так что, Александр Рудольфович, по банку, а?

– Ну, если вам так угодно... – И геолог неторопливо и даже нарочито лениво – как раздраженно показалось начальнику станции – взял вторую карту.

Начальник станции оледенел в ожидании, а геолог, словно дразня его, совсем без восторга, а как бы нехотя, открыл обе карты:

– Насколько я понимаю, два туза – это двадцать одно. Уж извините, Виталий Севастьяныч. Может, кончим игру? А то мне сегодня везет до неприличия...

«А вдруг он шулер – интеллигентный, тактичный, пишущий стихи шулер? Все шулеры наверняка должны быть хорошими актерами», – мелькнула воспаленная мысль у начальника станции, и, хотя за свою подозрительность ему стало стыдно, он на всякий случай кончиками пальцев прощупал карты – но на картинках не было никакого надреза бритвой посередине, и десятки не были срезаны сбоку, чтобы их легче было вытягивать. Рубашки карт тоже были вроде в порядке – никакого крапа не просматривалось. И вообще, этот Гангнус выглядел до отвращения порядочным человеком, к которому не подкопаешься. Но если он порядочный человек, почему ему так фартило? Это же было дьявольски несправедливо по отношению ко всему остальному человечеству, и особенно к нему, начальнику станции. Разве он не заслуживал если не выигрыша, то хотя бы отыгрыша?

– Теперь вы банкуете... – Начальник станции отпихнул от себя заколдованную колоду.

Гангнус принял ее без особого воодушевления, но, когда стал тасовать, несколько раз прищелкнул колодой с каким-то особенно щеголеватым изыском.

У начальника станции было такое униженное чувство, как будто его самого небрежно щелкнули по носу.

Начальник станции мрачно воспламенился, дважды ударил по банку и дважды проиграл.

– Стук! – сказал Александр Рудольфович, растасовав карты и с подчеркнутой уважительностью дав начальнику станции снять. Начальник станции пересчитал деньги на дне своей форменной фуражки. Их было всего на пятерку больше, чем сейчас скопилось в банке.

– По банку! – сказал он с пересохшим ртом.

Зрители замерли, а станционный бухгалтер нервно передернулся, и не без причины.

– Вы уверены, Виталий Севастьянович? – пытаюсь скрыть жалость, отчего она невольно стала еще заметней, переспросил Гангнус. – Может быть, сыграете на половину? Ведь вам потом банковать... А если проиграете, что же вы в банк-то будете ставить?

Начальник станции побагровел от оскорбившей его заботливости геолога и буркнул, протягивая за картой не слушающуюся разума руку:

– Александр Рудольфович, не кажется ли вам, что вы слишком молоды для того, чтобы быть моей нянькой?..

Первым к начальнику станции пришел трефовый валет, чем-то похожий на того молоденького прапорщика, который, в отличие от него, когда-то не перешел на сторону красных, не бросил обреченного адмирала Колчака, а остался с ним до конца – до байкальской проруби.

Второй картой был туз, который был бы лучшим подарком, приди он первым, а сейчас совсем не нужный и даже опасный. Всего-навсего набралось тринадцать, а это была цифра для кого счастливая, а для кого нет. Скользкая была цифра. Надо было прикупать, но можно было и попасться на перебор. Начальник станции запоздалым чутьем попавшего в медвежью яму зверя представил, что следующая карта может быть убийственной для него десяткой, и с наигранным торжеством хрипло выдохнул, пряча карты во вспотевших ладонях:

– Себе.

Александр Рудольфович открыл свою карту. Это был червовый туз с прилипшим к нему одиноким колечком лука, спрыгнувшим с остатков винегрета на стол.

«К этому Гангнусу даже лук липнет. Сейчас будет десятка», – с тоской подумал начальник станции.

Но вместо десятки в руки Александра Рудольфовича из колоды выпрыгнула изрядно потрепанная жизнью, но все еще вполне приемлемая как женщина – бубновая дама. Она была опять на кого-то похожа, но на кого – начальник станции сообразил не сразу, а когда досообразил – поморщился. Эта карта была похожа на сияющую от счастья, свалившегося прямо на ее шестимесячный перманент, его собственную простолюдинку-жену, оказавшуюся в руках этого московского гусара – то бишь геолога.

Геолог исподлобья взглянул, но не на лицо начальника станции, а на его пальцы, сжимающие две карты слишком судорожно для того, чтобы у него было двадцать – или даже, на худой конец, семнадцать-восемнадцать.

И Гангнус сделал нечто, совершенно не предвиденное его карточным соперником, – он остановился на четырнадцати!

– Извиняюсь, Александр Рудольфович... – лихорадочно суетнулся бухгалтер. – Вы не думайте, что мы тут все провинциалы и правил не знаем... Очень даже знаем! Но банкомет должен прикупать к пятнадцати! Это обязательство...

– К пятнадцати, но не к четырнадцати... – улыбнувшись, покачал головой геолог.

– К четырнадцати тем более! Тут вам Сибирь, не Москва! Мы тоже не лыком шиты! – зашумели собравшиеся, пытаясь выручить начальника станции, ибо по его помертвевшему лицу догадались, что он блефанул и, кажется, влип. Геолог, конечно, симпатичный, но все-таки птица залетная, а начальник станции хоть и бывший контрик и его когда-нибудь, возможно, придется расстрелять, но в данном случае он был свой.

– Вам решать, кто из нас прав, Виталий Севастьянович, – обратился к начальнику станции Гангнус.

Начальник станции молчал, не глядя на него. В напряженной тишине было слышно только его хриплое, загнанное дыхание. Он презирал себя за то, что молчал, но губы освинцовели, не могли выдать слова, признающие поражение – еще одно, на сей раз карточное.

– Хорошо. Я прикупаю... – пытаясь выручить его, решительно сказал Александр Рудольфович и, надеясь на перебор, вытянул еще одну карту и бросил ее на стол.

– Очко! – ахнули собравшиеся. Это была семерка.

Начальник станции хрупнул скулами, толкнул к Гангнусу свою форменную железнодорожную фуражку вместе с проигранными деньгами.

– Ну а фуражку-то зачем... – развел руками геолог и, вынув деньги из фуражки, кончиками пальцев легонько подтолкнул ее обратно.

Районный Пимен, который никак не мог пережить, что водочка под омулек не состоялась, полузаискивающе-полузлбно прошипел:

– А есть ли что на свете, в чем вам хоть однажды не повезло, Александр Рудольфович?

– В эпохе, – улыбнулся Гангнус углами губ, и никто не понял, насколько это было в шутку и насколько всерьез.

– Нет, вы мне все-таки ответьте: вы когда-нибудь делали инъекцию хряку? – уже заплетаясь языком продолжал гнуть свою линию ветеринар.

Увы, я не делал инъекции хряку,
Не лез ни в какую кабацкую драку, —

сымпровизированно покался Гангнус.

– А драку – это мы можем организовать, – громоздко приподнялся ветеринар, но у него это плохо вышло. Районный Пимен успел подставить плечо под его качнувшуюся тушу и отбуксировал ее на свежий воздух, как юркий катерок огромную заржавленную баржу.

Начальник станции успел ухватить за шкурку бухгалтера, который явно хотел улизнуть, и что-то лихорадочно стал ввинчивать шепотом в его уши.

Уши у того были большие, хрящеватые и по мере ввинчивания в них из игриво-розовых становились смертельно-белыми.

А глаза у бухгалтера были разноразмерные, разноцветные, да к тому же и косенькие, и они сразу одновременно косились в две противоположные стороны, ибо с каждой из них могли появиться мрачные специалисты по борьбе с расхитителями социалистической собственности.

– Да сейф же пуст, Виталий Севастьянович, честное коммунистическое, пуст... Я же вам все билетные деньги отдал... до копеечки... – чуть ли не всхлипывал бухгалтер.

Александр Рудольфович полурасслышал их перешептывания и нахмурился. Ему доставляло удовольствие выигрывать, но у выигрыша была одна неизбежная сторона, которая ему никогда не нравилась, – проигрыш других.

– Покорнейше прошу вас выйти, – выручил Александр Рудольфович несчастного бухгалтера. – Нам с Виталием Севастьяновичем надо поговорить с глазу на глаз.

А когда они остались вдвоем, Александр Рудольфович сгреб все выигранные деньги на середину стола.

– Давайте прекратим игру. Скажите по-честному – сколько здесь ваших денег, а сколько казенных? Я возьму только ваши собственные, а все остальные верните туда, откуда вы их взяли...

– Когда-то в прежней жизни я был офицером. Вы знаете, что такое офицерская честь? Впрочем, вам, нынешним молодым, это трудно понять... – резко бросил начальник станции.

– Мой любимый поэт – Лермонтов, – пожал плечами Александр Рудольфович.

«Может, я не прав насчет всех молодых... Становлюсь брюзгой... Этот москвич, конечно, павлин – любит хвост распушить, но в достоинстве ему не откажешь. А как обстоят дела с моим достоинством?» – подумал начальник станции. Вдруг ему отчего-то стало холодно.

Он поднял голову и увидел в окне, за которым вставал июльский рассвет, снежинки, медленно опускающиеся на шишаки красноармейцев, ведущих по байкальскому льду адмирала Колчака и не бросившего его прапорщика. Они остановились возле проруби. Колчак открыл серебряный портсигар, взял одну папиросу себе, другую дал прапорщику.

Они закурили. Колчак щелкнул портсигаром, закрывая его, и протянул одному из красноармейцев.

– На память, – сказал он.

Папиросы были душистые, асмоловские, но, казалось, горели слишком быстро. Снежинки, падая на жемчужные столбики стремительно нараставшего пепла, чуть шипели. Колчак и прапорщик обнялись.

– Мы готовы, – сказал адмирал красноармейцам...

Начальник станции никогда не видел, как это на самом деле происходило. Может быть, это была только легенда, а все случилось гораздо грязней и проще.

– *И прах наш с строгостью судьбы и гражданина...* – подумал вслух начальник станции.

– *Потомок оскорбит презрительным стихом...* – продолжил Александр Рудольфович.

– *Насмешкой горькою обманутого сына...* Это уж не вашей ли насмешкой надо мной, Александр Рудольфович? – криво усмехнулся начальник станции. – А «над промотавшимся отцом» – это мне не в бровь, а в глаз. Между прочим, когда я тоже пописывал, у меня был сатирический опус «О вкусной и здоровой теще», которая была женщиной страстной во всех своих увлечениях, в том числе и в картах. Там, между прочим, были такие строчки:

«Свой проигрыш назад у тещи взять?

Я лучше застрелюсь!» – воскликнул зять.

Так что не могу я принять свой проигрыш вам из ваших же рук, Александр Рудольфович. Дело не в том, что вы меня будете презирать, а в том, что я сам себя после этого презираю. Вот так-то... Идите-ка к вашей жене. Может, у вас уже сын родился...

– Почему именно сын, а не дочь?

– Ну, вам же хочется сына, значит сын и будет... Вы же везучий... Пусть и ваш сын будет такой же... Кому-то же должно везти в нашей невезучей России. Да вы не смотрите на меня такими сострадающими некрасовскими глазами. Вот видите – я уже улыбаюсь...

Когда Александр Рудольфович с рюкзаком, набитым выигранными деньгами, пересек вокзальную площадь, навстречу ему от родильного дома, радостно размахивая руками, выбежала пожилая нянечка, теряя на ходу стоптанные шлепанцы:

– Ляксандр Рудович, Ляксандр Рудович, – сын!

И одновременно с криком новорожденного, как всегда в шесть утра, раздался мощный деповский гудок. Александр Рудольфович, к счастью для него, не заметил, что ревом этого гудка утро последнего года первой пятилетки заглушило выстрел в кабинете начальника станции, застрелившегося из старого смит-вессона. Кто знает, может, этот пистолет был подарком адмирала Колчака...

Крик ребенка, гудок, выстрел – так началась моя жизнь.

Это самоубийство от Александра Рудольфовича пытались скрыть, но станция была слишком маленькая...

...Отец рассказал мне эту историю, когда мне было тоже двадцать два года и я тоже ночи напролет играл в карты на деньги – в очко, покер, преферанс, кинг, даже в «веришь-не-веришь», и мне тоже чертовски везло.

– Если играешь в карты с плохими людьми, их не жалко обыгрывать, – сказал отец. – Но от постоянного общения с подлецами становишься таким же, как они. С друзьями играть нельзя, потому что, выигрывая, их теряешь. С малознакомыми людьми тоже играть не стоит – помни про начальника станции.

С тех пор я никогда не играю в карты на деньги.

2. Хрустальный шар прадедушки Вильгельма

*Верю в силу природы:
были и будут роды,
множиться будут народы,
гибнуть – душой уроды.*

Джумбер Беташвили

Родная сестра отца – архитектор Ирина Рудольфовна Козинцева, в девичестве Гангнус (или, как я называл ее в детстве, «тетя Ра»), была первым человеком на земле, сказавшим мне, что Сталин – убийца.

Услышать такое в сорок пятом году в Москве, над которой распускались пестрые хвосты победных салютов и под брюхом аэростата реял гигантский портрет с усами, шевелящимися на колышущемся алом шелке как живые, было почти непредставимо, и все-таки тетя Ра это сказала.

Если уж быть точным, она не сказала, а выкрикнула это мне в лицо. Из-под ее очков катились злые, почти безнадежные слезы ужаса, которые у нее вызвал я, тоненький, как поминальная свечечка, ее тринадцатилетний племянник, читая ей свои тошнотворно искренние стихи о Сталине, бросившем за колючую проволоку обоих моих дедушек и дядю.

Тетя Ра знала, чем она рискует. По всем правилам моего пионерского воспитания я обязан был донести на нее. Но если мой отец был моим первым поэтическим учителем, тетя Ра стала моим учителем политическим. Она рассказала мне о лагерях, о расстрелах – о том, о чем никогда со мной не говорили ни отец, ни мать, оберегая меня от страшной правды. В стихах отца лишь однажды вырвалось:

И когда положат все ножи на
Розоватый от безделья стол,
Я сожмусь, как ржавая пружина,
Медленно вложив сомненье в ствол.

Ни на что никто не даст ответа.
Полночь задохнется у окна,
Но последним вздохом пистолета
Разом разорвется тишина.

Я уйду спокойно, чуть осунусь.
Кровь кругом – что может быть грязней.
Тяжело, когда уходит юность,
Нелегко расстреливать друзей.

Отец никого не расстреливал, но его самого могли арестовать в любой день и расстрелять: он был сыном врага народа. Почему же он думал о самоубийстве, когда убийство ходило вокруг него? Может быть, он всю жизнь переживал самоубийство начальника станции, ибо сам не раз был близок к такому уходу и понимал, как страшно принять это непоправимое решение? А может быть, именно самоубийство начальника станции спасло его от собственного?

Тех, кто не потерял совести, даже молчаливое неучастие в преступлениях мучит как соучастие.

У отца есть строки: «Тяжело пить чаши круговые и платить за все не серебром». Тогда только ценой смерти можно было отказаться от круговой чаши позора. Ее вынуждены были если не испить, то пригубить даже Мандельштам, Пастернак, Ахматова, а Шостакович, с отвращением дергая кадыком, судорожно опрокинул чашу позора до дна, расплескав на гениальные ноты.

Но что имел в виду отец под словами «и платить за все не серебром»? Чем пришлось заплатить ему за то, что его не тронули? Он никогда не отказывался от своего арестованного отца, как это тогда делали многие. Он не вступал ни в комсомол, ни в партию. Под «расплатой не серебром», так терзавшей его, он, видимо, подразумевал примирение с тем, что презирал, хотя, может быть, не ненавидел, ибо ненависть никогда не была нашей семейной чертой.

Молитва, приводимая Куртом Воннегутом в «Бойне номер пять», гласит: «Дай Бог мне принимать то, что я не могу изменить».

А что делать, если не можешь чего-то изменить, но и принять этого не можешь?

Если нет права говорить, то остается право думать.

Тетя Ра, назвав Сталина убийцей, сделала мне в детстве ошеломивший меня неожиданностью подарок – право думать.

А недавно она сделала мне другой, на сей раз долгожданный подарок – хрустальный красавец-шар с причудливыми цветными фантазиями внутри, которые бы сделали честь самому Кандинскому.

Я помню этот шар с детства.

До исчезновения моего дедушки по отцу – математика Рудольфа Вильгельмовича Гангнуса, арестованного в тридцать седьмом за «шпионаж в пользу Латвии», этот шар играл роль пресс-папье на дедушкином столе, и, когда солнечные лучи попадали внутрь, шар улыбался во все свои хрустальные щеки, как маленькое солнце. А внутри его замороженно застыли серебряные пузырьки и радужные хрустальные водоросли, выдыханные в стеклодувную трубку, как звуки из флейты.

Сквозь этот шар было легче читать, потому что он увеличивал буквы. В него можно было смотреться, как в комнате смеха, – он растягивал лицо то в длину, то в ширину, превращал одно лицо в десяток лиц. Этот шар можно было гладить – он был прохладно ласков на ощупь, но не впускал в себя изнывающую от любопытства мальчишескую руку, и правильно делал. Он был замкнутым в себе миром, как сферический аквариум, и никакие, даже самые пронирливые рыбки не могли всплыть в его непроницаемый хрусталь, и ничто не колебало растений, выдутых на его дне.

Этот шар был семейной реликвией, и его хрустальные водоросли были так же запутаны, как и моя родословная.

Во время войны, как множество других советских детей, я, конечно же, ненавидел немцев, однако моя не совсем благозвучная фамилия Гангнус порождала не только шутки, но и немало недобрых подозрений – не немец ли я сам.

Эту фамилию я считал латышской, поскольку дедушка родился в Латвии. После того как учительница физкультуры на станции Зима посоветовала другим детям не дружить со мной, потому что я немец, моя бабушка Мария Иосифовна переименовала мне отцовскую фамилию на материнскую, заодно изменив мне год рождения с 1932 на 1933, чтобы в сорок четвертом я мог вернуться из эвакуации в Москву без пропуска.

Ни за границей, ни в СССР я ни разу не встречал фамилии Гангнус. Кроме отца, ее носили только мои братья по отцу – Саша и Володя.

Однако в 1985 году в Дюссельдорфе после моего поэтического вечера ко мне подошел человек с рулоном плотной бумаги и, ошарашив меня, с улыбкой сказал:

– Я прочел вашу поэму «Мама и нейтронная бомба»... Вы знаете, учительница физкультуры на станции Зима была недалеко от истины. Разрешите представиться – преподаватель географии и латыни дортмундской гимназии, ваш родственник – Густав Гангнус.

Затем он деловито раскатал рулон и показал мне мое генеалогическое древо по отцовской линии.

Самым дальним моим найденным пращуром оказался уроженец Хагенау (около Страсбурга) Якоб Гангнус – во время Тридцатилетней войны ротмистр императорской армии, женившийся в 1640 году в Зинцхейме на крестьянке Анне из Вимпфенталя. Его дети, внуки и правнуки были пастухами, земледельцами, скитались из города в город, из страны в страну, и, судя по всему, им не очень-то везло.

В 1767 году правнук Ханса Якоба – бедствовавший многодетный немецкий крестьянин Георг Гангнус, до этого безуспешно искавший счастья в Дании и разочарованно вернувшийся оттуда, решил податься на заработки в Россию вместе с семьей – авось повезет. В Германии в этот год была эпидемия какой-то странной болезни, и Георг, ожидая корабля, скончался в Любеке, оставив жену Анну Маргарету с восемью детьми – мал мала меньше. Но она была женщина сильной воли и, похоронив мужа, отплыла с детьми в Кронштадт, куда не добрался он сам, потом оказалась в ливонском селе Хиршенхофе (ныне Ирши).

Анна Маргарета не гнушалась никакой черной работы, пахала, чистила коровники, стирала, шила и порой от отчаянья и женского одиночества запивала так, что однажды ее морально осудил сельский сход. Но в конце концов она поставила на ноги всех восьмерых детей. Им удалось выбиться из нищеты, но не из бедности. Все были крестьянами, мелкими ремесленниками, – никто не получил высшего образования, никто не разбогател.

Но внук Анны Маргареты – мой прадед Вильгельм – стал знаменитым стеклодувом на стекольном заводе Мордангена и женился на вдове своего старшего брата – Каролине Луизе Каннберг. В 1883 году у них родился сын Рудольф – будущий отец моего отца.

Этот хрустальный шар Вильгельм сделал в подарок новорожденному сыну. Однако Рудольф не захотел стать стеклодувом, как его отец, и в девятнадцатилетнем возрасте, блистательно сдав экзамены, поступил на математический факультет Московского университета. Он сам начал зарабатывать на жизнь уроками алгебры и геометрии.

С юности он был влюблен в знаменитую рижскую актрису Аспазию, которую называли латышской Комиссаржевской, и в архиве Латвийского театрального музея сохранилась их переписка. Но ему суждено было жениться не на ней.

Если бы еще тогда Рудольф Гангнус внимательно взгляделся в хрустальный шар, выдутый для него его отцом, Вильгельмом, возможно, он увидел бы сани с гробом, медленно ползущие по заснеженным улицам незнакомого ему сибирского города Тобольска, идущую вслед огромную толпу со слезами, полузамерзающими на щеках, и в этой толпе осиротевшую девочку Аню Плотникову, его будущую жену и мою будущую бабушку.

Она и подарила моему отцу неотразимые карие глаза и обезоруживающую мягкость.

Ее отец был любимым во всем уезде врач – Василий Александрович Плотников, которому за его медицинскую работу было пожаловано дворянство. Когда он безвременно скончался, его провожал весь Тобольск.

Матерью Ани и еще трех других осиротевших детей была Марья Михайловна Плотникова, в девичестве Разумовская, дочь сельского священника, закончившая Институт благородных девиц, моя будущая прабабушка, или, как я ее прозвал в детстве, бабушка Старка. По слухам, она была дальней родственницей романиста Данилевского и – через него – еще более дальней родственницей семьи лесничего из Багдади Маяковского.

Марья Михайловна оказалась с четырьмя детьми на руках в таком же положении, как некогда, в другом веке, – неизвестная ей Анна Маргарета Гангнус, с которой в будущем они

окажутся ветвями одного и того же генеалогического древа, нарисованного дортмундским учителем.

Марья Михайловна переехала под Москву, устроилась на Кольчугинский инструментальный завод конторщицей, брала работу на дом и тоже, как Анна Маргарета, сама поставила на ноги всех детей.

Анна Васильевна поступила на курсы Лесгафта, Михаил Васильевич стал биологом.

Двух детей своих Марья Михайловна, к ее глубокому горю, пережила.

Александр Васильевич в двадцатилетнем возрасте застрелился от несчастной любви к цыганке.

Младший – Евгений Васильевич Плотников – был сначала комиссаром Временного правительства в Новохоперске, затем перешел на сторону большевиков, стал заместителем наркома здравоохранения Каминского.

Но все это было еще впереди, когда в 1909 году юная русская курсистка Аня Плотникова вышла замуж за Рудольфа Гангнуса и у них появились дети – в 1910 году мой будущий отец Александр и в 1914-м – моя будущая «тетя Ра».

Рудольф Вильгельмович прекрасно говорил по-русски, по-немецки и по-латышски, но, конечно же, был немцем.

Словом, учительница физкультуры со станции Зима отличалась незаурядным нюхом на немчуру.

Следовательно, когда во время войны я ненавидел всех немцев, я, сам того не ведая, ненавидел и своего дедушку Рудольфа, и его отца Вильгельма, выдувшего этот волшебный хрустальный шар.

Но главное потрясение было впереди.

Через дортмундского Гангнуса я узнал, что есть и другие, австрийские Гангнусы – потомки родного брата моего дедушки Рудольфа, банковского служащего Зигфрида, сразу после начала войны перебравшегося из Риги на родину «Сказок Венского леса».

Я шел на встречу с неизвестной мне родней в старинном венском кафе с опасениями – ведь они могли оказаться или не очень хорошими, или неплохими, но смертельно скучными людьми, с которыми не о чем разговаривать.

К счастью, они мне очень понравились: это были интеллигентные люди, но не снобистского склада – фармацевт, медсестра, инженер-строитель, который, кстати, как две капли воды был похож на моего сводного брата Володю, только чуть располневшего и поседевшего. Все они читали «Маму и нейтронную бомбу», откуда и узнали о судьбе российских Гангнусов и о моем существовании.

Разумеется, при встрече мы показывали друг другу наши семейные фотографии. Глава клана австрийских Гангнусов – восьмидесятилетняя Эрмина Гангнус, вдова брата моего дедушки Рудольфа, – вздохнула:

– Жаль, что Зигфрид не дожил до этого дня и не познакомился с тобой – вы бы подружились. Он был очаровательным карикатуристом, прекрасным резчиком по дереву, вообще у него была такая артистичная натура...

Всплакнув, она протянула мне фотографию моего двоюродного дедушки.

Я остолбенел.

С фотографии на меня смотрел стройный офицер гитлеровского вермахта с веткой сирени в руке и приветливо, хотя и с оттенком извинения, мне улыбался, как будто хотел сказать глазами: «Ну вот, мы наконец и познакомились... Мог ли ты представить во время войны, что у тебя есть такой родственник?»

Чуть запоздало поняв мои чувства, Эрмина смущенно убрала фотографию, быстро заговорила:

– Он так переживал, когда его мобилизовали... А что он мог поделывать! Но, слава богу, его направили не в Россию, а в Италию... Ему там так понравилось, особенно во Флоренции... Его нельзя было вытащить из галереи Уффици. Он даже начал изучать итальянский язык...

В этом венском кафе я подумал, что когда-то на земле было совсем мало людей, с которых мы все начались, и, наверно, мы все – не найденные друг другом родственники. И любая война – это война гражданская, братоубийственная.

Как нырнуть внутрь хрустального шара родословной и коснуться кончиками пальцев его дна?

Да и может ли быть у него дно?

...Когда харьковчане выдвинули меня в 1989 году в Совет народных депутатов СССР, моя мама сказала:

– Кстати, попробуй найти в Харькове особняк своей двоюродной прабабки на бывшей Миллионной улице... Кажется, сейчас это улица Ленина...

Я так и обер:

– Какой еще особняк? Какой прабабки?

– Четырехэтажный. Она когда-то жила там совсем одна с двумя сотнями кошек...

– Постой, мама... Ты же сама рассказывала, что твои предки в конце девятнадцатого века были сосланы из Житомирской губернии в Сибирь, на станцию Зима, за крестьянский бунт... Откуда же у простой крестьянки четырехэтажный особняк да еще и две сотни кошек? Зачем же ты мне сказки сказывала и про «красного петуха», подпущенного помещику, и про то, как до станции Зима наши предки добирались пешком в кандалах? – растерянно, оторопело бормотал я.

– Все правда – и «красный петух», и кандалы... – частично успокоила меня мама. – Только прапрадед твой, Иосиф Байковский, никакой не крестьянин. Он был польский шляхтич, управляющий помещичьим имением, но возглавил крестьянский бунт. Голубая кровь ему не помогла – кандалы на всех были одинаковые.

Итак, легенда о моем рабоче-крестьянском происхождении с треском разваливалась. Оказалось, что я и со стороны моего прадедушки Василия Плотникова, и со стороны прадедушки Иосифа Байковского – дворянин. Вот уж не думал не гадал...

Жена Иосифа Байковского, вместе с ним отправившаяся в Сибирь, была украинка.

Их дочери – Ядвига и Мария – дома говорили между собой не только по-русски, но и по-польски и по-украински. В детстве вместе со стихами Пушкина я слышал от них Шевченко и Мицкевича в оригинале.

Сестры были полной противоположностью друг другу.

Ядвига Иосифовна, вышедшая замуж за русского сибиряка слесаря Ивана Дубинина, была небольшого роста, с почти неслышной походкой и всегда защищала меня в детстве от справедливой, но безжалостной палки своей суровой могучей сестры, от которой я спасался, забираясь на самую верхушку столба ворот нашего дома.

Высокая, прямая, неулыбчивая Мария Иосифовна – будущая мать моей матери – стала женой белоруса Ермолая Наумовича Евтушенко, сначала дважды георгиевского кавалера, затем красного командира с двумя ромбами, затем «врага народа».

Так кто же я?

Я русский поэт, а не русскоязычный.

Я русский человек по самосознанию.

Самосознание и есть национальность.

Мои мать и отец любили друг друга недолго, но я их люблю всегда.

Я люблю всех женщин, которых я когда-то любил.

Я люблю свою жену Машу.

Я люблю всех своих пятерых сыновей.

Я люблю Пушкина и Володю Соколова, Шостаковича и Булата Окуджаву, Петрова-Водкина и Олега Целкова, великого сибирского шофера моего дядю Андрея Дубинина и великого футболиста Всеволода Боброва.

Я люблю станцию Зима, Переделкино, Гульрипш, где сейчас от моего сожженного дома остался только пепел.

Я люблю скрип саней по снегу, баню с березовыми вениками, сало с черным хлебом, малосольного омуля, моченые антоновские яблоки.

Я, правда, почти не пью водки, потому что она убивает память, но водка незаменима на поминках, а мне на них приходится сживать все чаще и чаще, как будто все они сливаются в одни Большие Поминки по той Большой Стране, в которой я родился и которой уже нет и никогда не будет.

Но я люблю и другую – Самую Большую Страну – человечество.

Я люблю Гранд-каньон не меньше, чем Байкал.

Я люблю «Девочку на шаре» Пикассо не меньше, чем «Тройку» Перова.

Я люблю Эдит Пиаф и Жака Бреля не меньше, чем Русланову и Высоцкого. Я люблю Габриеля Гарсию Маркеса не меньше, чем Андрея Платонова.

Я люблю фильм «Похитители велосипедов» не меньше, чем «Летят журавли».

Я люблю гениев дружбы – грузина Джумбера Беташвили, убитого во время абхазско-грузинской бойни, американца Альберта Тодда, австралийца Джеффри Даттона, шведа Пера Гедина, итальянку Евелину Паскуччи, – с которыми мы сразу начали понимать друг друга с полуслова, – люблю их не меньше, чем моего школьного кореша электромонтажника Лешу Чиненкова, чем Леню Шинкарева, с которым мы прошли семь сибирских рек, чем Евтушенковеда № 1 – подводника Юру Нехорошева.

Наши отечественные блюстители чистоты крови давно пытаются поставить под сомнение мою «русскость», распространяя слухи, что я – замаскировавшийся еврей, хотя уж еврейской-то крови, к их бессильной ярости, у меня ни капли. Они радостно вцепились в довоенный учебник тригонометрии для средней школы, соавторами которого были мой дедушка Гангнус и Гурвиц, и называют меня на своих черносотенных сборищах не иначе как в плюрале: «эти гурвицы-гангнусы», приписав мне и фамилию дедушкиного соавтора...

Когда в 1990 году моей маме Зинаиде Ермолаевне Евтушенко исполнилось восемьдесят лет, она продолжала работать газетным киоскером на углу проспекта Мира и площади Рижского вокзала.

Ее в тот день завалили цветами и подарками те люди, которые жили или работали вокруг и столько лет покупали из ее добрых рук газеты не всегда с добрыми вестями, что уже от нее не зависело.

Чуть на дольше, чем полагалось, остановился один троллейбус, и его водительница, обычно покупающая журнал «Крестьянка», подарила маме большой египетский цветок, похожий на фламинго из дельты Нила. Машинист скорого поезда преподнес бутылку ликера «Вана Таллин». Мясник из соседнего магазина передал целый мешок самых изысканных костей для маминой собаки Капы.

Остановился спецавтобус, из которого высыпали будапештские туристы, знавшие адрес маминого киоска из переведенной на венгерский поэмы «Мама и нейтронная бомба», задарили маму сувенирами, просили автографы.

Цветов было столько, что весь киоск благоухал, превратившись в оранжерею.

Но вдруг появились четверо коротко стриженных молодых людей, в черных гимнастерках, с поскрипывающими портупьями и холодными военизированными глазами.

Один из них, по возрасту годившийся маме во внуки, сказал, поигрывая казацкой витой плеткой:

– Когда ты наконец уберешься в свой Израиль, старая жидовка, вместе с твоим сыном-сионистом и заодно со всеми этими вонючими гангнусами-гурвицами?!

Мама, рассказывая мне эту историю, невесело вздохнула:

– Отвратительно было это слышать, особенно от таких молодых людей... А если бы я была вправду еврейкой – каково бы мне было тогда!

Потом она добавила:

– Я тебя не идеализирую, Женя, потому что слишком хорошо тебя знаю со всеми твоими прибабасами. Но, глядя на этих чернорубашечников, я подумала: если эти подонки так ненавидят моего сына, то, наверное, он все-таки чего-нибудь стоит...

И она улыбнулась, хотя ей это далось не слишком легко.

Хрустальный шар прадедушки Вильгельма —
дар стеклодува, жившего богемно
в Лифляндии, недалеко от Риги,
где пахли тмином сладкие ковриги...

И я взлечу – лишь мне бы не мешали —
не на воздушном – на хрустальном шаре,
где выдуты внутри, так сокровенны,
как спутанные водоросли, гены.

Кто я такой? Чьим я рожден набегом?
Быть может, предок мой был печенегом.
А может быть, во мне срослись навеки
древляне, скифы, викинги и греки?
Рожден я был, назло всем узким вкусам,
поляком, немцем, русским, белорусом,
и украинцем, и чуть-чуть монголом,
а в общем-то, рожден ребенком голым.

Рокочет ритм во мне, как дар Дарьяла.
Гасконское во мне от д'Артаньяна.
У моего раскатистого стиля
фламандское от менестреля Тиля.

И как бы в мои гены ни совались,
я человек – вот вся национальность.
Как шар земной, сверкает многогенно
хрустальный шар прадедушки Вильгельма.

Россия, кто ты – Азия? Европа?
Сам наш язык – ребенок эфиопа.
И если с вами мы не из уродов,
мы происходим ото всех народов.

3. Ошибка Исаака Борисовича Пирятинского

*Каждому педсовету
выхода не было проще;
что с хулиганами? В эту —
в ихнюю Марьину Рошу.*

Е. Е.

Директором московской двести пятьдесят четвертой школы был высоченный альбинос Иван Иванович, всегда что-то поучительно гаркающий со своей альпийской высоты ученикам, как стаду непослушных баранов. В руке его была огромная связка ключей, и, когда он совершал дидактические жесты, она зловеще погрохатывала. Однажды, когда я его сильно довел, он меня слегка стукнул этой связкой по голове. Может быть, это было заслуженно, но все-таки больно.

Я не был ни драчуном, ни скандалистом, но кем я действительно был, да еще с нескрываемым удовольствием, это «злостным прогульщиком».

Прогул – это была единственная доступная тогда свобода. Даже улицы пахли по-другому во время прогула.

Причиной прогулов была моя новая страсть, соперничающая со страстью к поэзии, – футбол.

Я удирал из школы через черный ход или через окно и с такими же, как я, прогульщиками играл до темной ночи на пустырях грубым кирзовым мячом, от которого отбитые ладони вратарей синели.

Однажды бабушка Мария Иосифовна привела меня в школу, как теленка, на веревке, и, покатываясь со смеху, на меня глазели из окон те, кто тоже хотел бы прогуливать, но боялся.

Все кончилось тем, что я остался второгодником в седьмом классе, не сдав ни химии, ни физики, ни – что было особенно позорно – математики, несмотря на то что мне помогал вернувшийся из ссылки уже угасающий дедушка Рудольф.

Но за мной водилось кое-что почище прогулов и второгодничества.

Однажды в нашу школу приехал инструктор райкома комсомола с разъяснительной лекцией о докладе Жданова. Инструктор ничего в литературе не смыслил и вместо «Зощенко», оговорившись, сказал «Глущенко».

Инструктора стало жалко, но он был настолько противный, что моя жалость скоро прошла. Я поднял руку. Я был дотошный мальчик и пришел на лекцию, вооруженный томом «Литературной энциклопедии» тридцатых годов. Я раскрыл энциклопедию и одновременно брошюру с ждановским докладом, изданную миллионным тиражом. Я был краток:

– Нас всегда учили, что списывать нехорошо. Но вот посмотрите, что здесь написано об Ахматовой. И там и здесь все то же самое – что в лоб, что по лбу. И там и здесь Ахматова названа «монахиней и блудницей». Смотрим, когда вышла энциклопедия. Пятнадцать лет назад. Значит, ясно, кто списал. Я предлагаю отправить от нашей школы коллективное письмо товарищу Сталину и попросить его сказать товарищу Жданову, чтобы тот больше не списывал.

Воцарилась мертвая тишина.

Инструктор райкома подбежал ко мне, вырвал у меня из рук том энциклопедии, впился в него глазами. У него затряслись губы, когда ему стало ясно, что я прав.

Ученик седьмого класса, да еще и второгодник, против секретаря ЦК ВКП(б)! Инструктора прошиб холодный пот.

Его, а заодно и меня, выручил наш десятиклассник, школьный комсомольский вожак Дима Калинин – единственный в школе, кто позволял себе носить длинную, хотя и умеренно, прическу и элегантный, хотя и неброский, галстук.

– Мне кажется, Женя, ты нездоров, – сказал он, ласково приложив к моему лбу ладонь. – У тебя явно высокая температура... Ребята, проводите Женю домой... А то, что он здесь сказал, пусть останется между нами... Мало ли что люди говорят в бреду...

Где он сейчас, Дима Калинин, мой спаситель?

Спас ли он сам себя?

Эпоха была странная – иногда именно гибкие люди ломались, а негибкие выстаивали.

Но, кажется, это происшествие стало известно директору Ивану Ивановичу, потому что слишком уж охотно меня перевели в новую, только что открывшуюся школу № 607, куда со всей Москвы спихивали так называемых неисправимых.

Сам район, где находилась эта школа, – Марьино Роща – был назван по имени деревни Марьино. В восемнадцатом веке здесь проходила таможенная граница Москвы. В конце девятнадцатого века осталось только название, а саму рощу вырубili, застроили деревянными домиками, где жили резчики по дереву, иконники, оловянники, позолотчики, ткачи – словом, мастеровая вольница. После войны это было царство безотцовной шпаны, где споры разрешались финками. Фонари здесь всегда были разбиты, ибо темнота была нужней света. Была шутка: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны минус Марьино Роща».

«Школа неисправимых» по характеру пришлась вполне этому неисправимому району.

Директор 607-й марьинорощинской школы Исаак Борисович Пирятинский был небольшого, крепенький фронтовичок-здоровячок, с коротким седоватым ежиком и смышленными энергичными глазами, полными доброжелательного любопытства отца-командира к вверенным ему рядовым – то есть к школьникам.

На работу он ходил в военной форме со следами от споротых погон, с колодкой наградных планок и ввинченной в гимнастерку единственной медалью, на которой было написано только одно гордое слово: «Гвардия».

Но солдафоном он не был.

Мы его звали, сглатывая «о», Исаак Брисыч, а он нас называл по именам, а не по фамилиям, что по тем временам было поразительно, и прекрасно помнил нас в лицо.

Он мне нравился, потому что был полной противоположностью Ивану Ивановичу – никогда занудно не иерихонствовал, не размахивал угрожающе связкой ключей, иногда играл с нами в волейбол, в шахматы. Ему, даже если бы захотелось, было бы нелегко от нас отделаться, ибо 607-я школа стояла на самом краешке обрыва советского образования, а внизу была уже пропасть.

Ему нравились мои стихи, и на наши прогулы он смотрел сквозь пальцы. Словом, такого прекрасного директора мы даже не заслуживали.

Но случилось нечто.

Однажды ночью кто-то взломал учительскую комнату и украл все классные журналы. Позднее их обгоревшие остатки обнаружили на свалке. Подозрение пало на меня, потому что именно в этот день я получил «кол» по немецкому, и, если следовать логике, именно я должен был прийти в ярость и отомстить за унижительную отметку.

Честно говоря, сжечь классные журналы я был способен, если бы меня сильно разозлили. Но там произошло кое-что похуже – кто-то стукнул старика-сторожа по голове, а вот этого я сделать не мог.

Исаак Брисыч был человек по-военному прямолинейный. Это хорошее качество и одновременно опасное. Нет ничего более хрупкого, чем железная логика.

Он созвал общее собрание и несколько часов подряд просил, требовал, чтобы виновник сам признался. Взамен Исак Брисыч обещал полное прощение.

Все молчали. Сначала он обходил меня взглядом, видимо борясь с собой. Было даже неестественно, что он смотрит на всех, за исключением меня, расхаживая перед нами в сапогах, пронзительно скрипящих среди общей тишины. Я почувствовал, что он смотрит на меня, даже не глядя.

— Я не хочу, чтобы вы доносили на ваших товарищей, — говорил он. — Я презираю стукачей. Доносительство — это трусость. Я прошу у того, кто это сделал, честности перед собой и другими. Если вы будете молчать, я сам сейчас назову предполагаемого виновника. Но ведь я же могу ошибиться, и молчание настоящего виновника будет равносильно ложному доносу на товарища. Ну, наберитесь наконец мужества!

Потеря терпения и логика постепенно заставили его сконцентрировать взгляд на мне. Этот взгляд уговаривал, убеждал, приказывал мне признаться. Наконец Исак Брисыч не выдержал и ткнул в меня пальцем, впервые назвав меня не Женей, как обычно, а по фамилии:

— Евтушенко, это сделал ты!

— Нет, — сказал я, поднявшись. — Я этого не делал.

— Ты! Ты! Ты! — повторял он в ярости, то ли на меня за выдуманную им мою трусость, то ли на себя от боязни того, что сейчас совершает непоправимую ошибку.

На следующий день я был исключен из школы.

Прежде чем я вообще получил какой-либо «человеческий» паспорт, у меня оказался «волчий».

«Волчий паспорт» — это выражение еще дореволюционное.

В царской России это означало документ о неблагонадежности, закрывающий доступ на государственную службу, в учебные заведения. В советское время «волчьим паспортом» называли официальную отрицательную характеристику, выдаваемую или школой, или институтом, или профсоюзом, или комсомольской или партийной ячейкой. Совсем без характеристики ткнуться было некуда, а с такой характеристикой — тем более.

Но были люди, которые поверили в меня, давали почитать умные книги, не позволившие мне — даже с «волчьим паспортом» — стать волком.

Все мы — произведения тех, кто в нас верит. Мой отец, поэты А. Досталь, Н. Тарасов, критик В. Барлас, прозаик, будущий великий футбольный обозреватель Л. Филатов написали вместе со мной то лучшее, что написал я. Впоследствии меня «дописывали» Вл. Соколов, А. Межиров, Б. Слуцкий.

Когда мне было пятнадцать лет, в газете «Советский спорт» напечатали мое первое, глупенькое, звучащее сейчас пародийно стихотворение, начинавшееся так:

Под грохот трещоток дробный
в залах,
 где воздух сперт,
ломаются
 руки
 и ребра —
и это
 у них
 спорт!

До сих пор не могу понять, как Николай Тарасов, которому я принес эту детсадовщину, мог догадаться, что на меня стоит тратить время. А он догадался.

В 1952 году вышла моя ходульно-романтическая книжка «Разведчики грядущего», но затем из бумажного моря выдуманных стихов о выдуманных людях стали время от времени выныривать настоящие стихи, как нерпы выныривают из грязных нефтяных разводов на байкальской воде.

Меня начали читать, переписывать в тетрадки, запоминать. Однажды позвонил Исак Брисыч:

– Читаю тебя, горжусь. Очень понравилось «О, свадьбы в дни военные...», «Окно выходит в белые деревья», «Зависть»... Хотя, честно скажу, мне было бы легче, если бы ты писал плохо... Я ведь тебя все-таки исключил... Ты на меня зла не держишь, Женя?

– Ну что вы, Исак Брисыч... Логически вы ведь были правы...

– Что значит – логически? – несколько оторопел он.

– А то, что я не крал этих журналов.

Ответом мне было продолжительное молчание в трубке.

– Неужели ты и сейчас не хочешь в этом признаться? Ну хорошо, давай об этом не будем... У нас через неделю вечер встречи выпускников. Приезжай, считаешь стихи. Выпьем немножко, потрепемся...

– Да я же не выпускник, а вышибник...

– Опять ты за свое. Разве можно быть поэту злопамятным...

Я приехал, и мы искренне обнялись.

И вдруг случилось нечто непредвиденное.

Один мой одноклассник по кличке Пряха, впоследствии ставший членом-корреспондентом Академии наук, сказал после нескольких глотков теплой водки из бумажного стаканчика:

– Ребята, я хочу у Жени, у Исака Брисыча и у всех вас попросить прощения. Это я тогда сжег классные журналы...

Все так и застыли.

– Но почему ты это сделал? – вырвалось у Исака Брисыча. – Ты же был всегда круглым отличником!

– Я первый раз в жизни получил пятерку с минусом, – виновато, но в то же время как бы оправдательно пожал плечами Пряха. – А я к минусам не привык...

– Ну что же ты раньше об этом не сказал, сукин ты сын... – зашумели мои бывшие одноклассники. – Что же ты молчал в тряпочку, когда парня вышвыривали на улицу!

– Но я же в конце концов признался. Лучше поздно, чем никогда. За что вы на меня так набросились?.. Все-таки надо ценить муки совести... – вставая и надевая шляпу, оскорбленно сказал Пряха.

– Даже запоздалые? – язвительно спросил кто-то.

– Запоздалых мук совести нет... – с достоинством обронил афоризм будущий член-корреспондент Академии наук, удаляясь.

Но меня он заинтересовал гораздо меньше, чем Исак Брисыч.

Я никогда не представлял раньше, что Исак Брисыч способен плакать. Он плакал не глазами – он плакал плечами.

– Почему я тебе не поверил тогда, по-че-му? Почему я тебе выписал «волчий паспорт»... Ты мог бы от отчаянья стать вором, и, кто знает, может быть, убийцей... Это я бы тебя сделал таким, я... Какая страшная ошибка... – судорожно вырывалось у него.

После тех «посиделок» я больше не видел Исака Брисыча.

Недавно на Ваганьковском, совсем близко от могилы отца, я вдруг вздрогнул, прочитав четыре строки из моего стихотворения «Марьяна Роща», высеченные на чьем-то могильном камне:

Поняли мы в той школе
цену и хлеба и соли
и научились у голи
гордости вольной воли.

Надпись на камне гласила: «Исаак Борисович Пирятинский. Педагог».

Шестьдесят лет прошло с той поры, когда моя детская рука нацарапала в ученической тетрадке в клеточку что-то похожее на стихи:

Я проснулся рано-рано
и стал думать – кем мне быть.
Захотел я стать пиратом,
грабить корабли.

У Багрицкого в «Контрабандистах» налицо явное раздвоение намерений: «Вот так бы и мне в налетающей тьме усы раздувать, развалясь на корме...» и уж совсем наоборотное: «Иль правильной, может, сжимая наган, за воров следить, уходящим в туман...».

У того пятилетнего сорванца никакого дуализма: «следить» за кем-то – это ему чуждо.

Признаюсь, что до сих пор в лермонтовской «Тамани» своей рисковостью и вольным духом девушка и слепой мальчишка мне нравятся больше, чем красиво, но осторожно рефлектирующий офицер.

Короче говоря, тогдашнему мальчику смертельно хотелось приключений – и не октябрятско-пионерских, благословляемых педагогическими надзирателями, а приключений, строго-настрого не рекомендуемых.

Но мало ли кому хочется приключений в детстве, а я растянул их на всю жизнь, да и сейчас от них не откажусь. Пиратство и грабеж кораблей в той детской декларации независимости – лишь условный знак мятежа.

Это жажда опасной, но очаровательной контрабанды свободы, ликующего грабежа впечатлений.

Тогда это был еще инстинкт жизни, а потом он стал самой жизнью.

«Я хотел бы родиться во всех странах, быть всепаспортным, к панике бедного МИДа...» (1972), «И я шел по планете, как будто по Марьиной Роще гигантской...» (1983).

Эти стихи были написаны, когда еще существовали унижительные выездные комиссии. Тогда было невозможно предугадать, что я стану первым депутатом за всю историю СССР, который поставит вопрос об отмене всех этих комиссий.

Такова была моя планида, что в уродливо разделенном надвое мире я начал, насколько хватало силенок, расшатывать и пробивать проржавевший, но все еще железный занавес, продираясь сквозь его дыры с острыми, мстительно ранящими закраинами в украденный у нас остальной мир.

Я всегда любил быть создателем прецедентов. Всегда есть кто-то первый, а за ним идут другие – желательно не по телу первого.

Все те, кто шагает по людям, будут за это наказаны.

Но не все, кто перешагивает через нас, не правы.

Мы тоже перешагивали через тех, кого любили, чтобы сделать то, чего не смогли сделать они. Но мы не наступали на них.

Больно ошибиться в доверии к людям.

Но не дай бог ошибиться в недоверии, как ошибся в недоверии ко мне Исаак Борисович Пирятинский.

Мы приходим не только из прошлого.

Мы приходим из происходящего.

Мы приходим не только из предков, но из нас самих тоже.

Мы приходим из наших надежд, заблуждений, разочарований и снова надежд.

Наше происхождение продолжается.

Преждевременная автобиография (Фрагменты)¹

Автобиография поэта – это его стихи. Все остальное – лишь примечания к автобиографии. Поэт только тогда является поэтом, когда он весь как на ладони перед читателем со всеми своими чувствами, мыслями, поступками.

Для того чтобы иметь право беспощадно правдиво писать о других, поэт должен беспощадно правдиво писать и о себе. Раздвоение личности поэта – на реальную и поэтическую – неминуемо ведет к творческому самоубийству.

Когда жизнь Артюра Рембо, ставшего работником, пошла наперекор его ранним поэтическим идеалам, он перестал писать стихи. Но это был еще честный выход.

К сожалению, многие поэты, когда их жизнь начинает идти вразрез с поэзией, продолжают писать, изображая себя не такими, какие они есть на самом деле.

Но им только кажется, что они пишут стихи.

Поэзию не обманешь.

И поэзия покидает их.

Поэзия – женщина мстительная: она не прощает неправды.

Но она не прощает и неполной правды. Есть люди, которые гордятся тем, что они не сказали за всю свою жизнь ни слова неправды. Но пусть каждый из них спросит себя – сколько раз он не сказал правды, предпочитая удобное для себя молчание.

... Умолчание о самом себе в поэзии неизбежно переходит в умалчивание о всех других людях, о их страданиях, о их горестях.

Многие советские поэты в течение долгого времени не писали о собственных раздумьях, собственных сложностях и противоречиях – и, естественно, о сложностях и противоречиях людей. Я уже не говорю о пролеткультовском «мы», которое барабанно грохотало со всех страниц, заглушая тонкие и неповторимые мелодии человеческих индивидуальностей. Но и многие стихи, написанные после распада Пролеткульта от первого лица единственного числа, все-таки продолжали носить на себе отпечаток этого гигантски-бутафорского «мы». Поэтическое «я» становилось чисто номинальным. Даже простое «Я люблю» бывало иногда настолько неконкретным, настолько декларативным, что звучало как «Мы любим».

Именно в это время и был выдвинут нашей критикой термин «лирический герой». По рецепту этой критики поэт должен был быть не самим собой в своих стихах, а неким символом.

Вне стихи многих поэтов были автобиографичны. Там присутствовали и наименование места, где родился автор, и перечень городов, где он побывал, и некоторые события его жизни.

И все-таки эти стихи были бесплотны. Некоторых наиболее талантливых их авторов можно было различить по манере письма. Но по манере мышления различить их было довольно-таки трудно.

Авторы их не ощущались как живые, реально существующие люди, ибо все реально существующие люди мыслят и чувствуют неповторимо.

Внешняя автобиография ничего не означает без автобиографии внутренней: автобиографии чувств и мыслей.

¹ Впервые была напечатана в западногерманском журнале «Штерн» в 1962 г. На русском языке опубликована в «Неделе» в 1989 г.

Творчество настоящего поэта – не только движущийся, дышащий, звучащий портрет времени, но и автопортрет, написанный так же объемно и экспрессивно.

То, против чего я борюсь, – ненавистно многим людям.

То, за что я борюсь, – дорого тоже многим.

Есть люди, которые вносят в общество свои личные идеи и вооружают этими идеями общество. Это, наверно, высшая ступень творчества. Я не принадлежу к таким людям.

Моя поэзия – лишь выражение тех новых настроений и идей, которые уже присутствовали в нашем обществе и которые только не были поэтически выражены. Не будь меня – их бы выразил кто-то другой.

Не противоречу ли я своим предыдущим словам о том, что поэт – это прежде всего индивидуальность?

Нисколько.

На мой взгляд, только в резко очерченной индивидуальности может соединиться и сплавиться воедино что-то общее для многих людей.

Мне бы очень хотелось всю жизнь выражать еще не высказанные идеи других людей, но в то же время оставаться самим собой. Да, впрочем, если я не буду самим собой, я не смогу их выразить.

...Я ходил вместе с мамой и отцом на демонстрации и просил отца приподнять меня повыше.

Я хотел увидеть Сталина.

И когда, вознесенный в отцовских руках над толпой, я махал красным флажком, то мне казалось, что Сталин тоже видит меня.

И я страшно завидовал тем моим ровесникам, которым выпала честь подносить букеты цветов Сталину и которых он ласково гладил по головам, улыбаясь в свои знаменитые усы своей знаменитой улыбкой.

Объяснять культ личности Сталина лишь насильственным навязыванием – по меньшей мере примитивно. Без сомнения, Сталин обладал гипнотическим обаянием.

Многие большевики, арестованные в то время, отказывались верить, что это произошло с его ведома, а иногда даже по его личному указанию. Они писали ему письма. Некоторые из них после пыток выводили своей кровью на стенах тюремных камер: «Да здравствует Сталин».

Понимал ли народ, что на самом деле происходило?

Я думаю, что в широких массах – нет. Он кое-что инстинктивно чувствовал, но не хотел верить тому, что подсказывало его сердце. Это было бы слишком страшно.

Народ предпочитал не анализировать, а работать. С невиданным в истории героическим упорством он воздвигал электростанцию за электростанцией, фабрику за фабрикой. Он ожесточенно работал, заглушая грохотом станков, тракторов, бульдозеров стоны, доносящиеся из-за колючей проволоки сибирских концлагерей.

Но все-таки совсем не думать было невозможно.

Надвигалась самая страшная опасность в истории каждого народа – несоответствие между жизнью внешней и внутренней.

Это было заметно и нам, детям. Нас тщательно оберегали родители от понимания этого несоответствия, но тем самым еще больше подчеркивали его.

Мои отец и мать познакомились в геологоразведочном институте, где они вместе учились. Это были двадцатые годы.

Тогда в высшие учебные заведения принимались в основном дети рабочих и крестьян. Это было совершенно естественной реакцией на то, что в годы царизма получали образование в основном дети обеспеченных родителей. Справедливость восстанавливалась. Но,

как часто бывает, при слишком горячем восстановлении справедливости допускается новая несправедливость.

На русском языке это получило четкое и образное определение «перегиб».

При перегибе в системе приема дети интеллигентов выглядели в высших учебных заведениях белыми воронами. Это случилось и с моим отцом.

Однажды на комсомольском собрании в институте его обвинили в буржуазных настроениях за то, что он... носил галстук.

(Отец, улыбаясь, рассказал мне это, когда мы с ним безуспешно пытались пройти вечером в один московский ресторан – безуспешно, потому что на нас не было галстуков.)

Однако галстук отца не помешал ему подружиться с худенькой девушкой, которая из революционной принципиальности носила мужскую красную косоворотку и сапоги, – моей матерью. Вскоре они поженились.

Моя мать, родившаяся в Сибири, не была такой начитанной, как отец, но она зато хорошо знала, что такое земля и что такое труд.

И я благодарен отцу за то, что он привил мне с детства любовь к книгам, а матери за то, что она привила мне любовь к земле и труду. Наверно, до конца моей жизни я буду ощущать себя полуинтеллигентом-полукрестьянином.

Я знаю, что первое обстоятельство, может быть, ограничивает меня, но зато я уверен, что второе всегда спасает меня от недостойной формы интеллигентности – снобизма.

Как я уже сказал выше, отец мой был человеком начитанным. Это относилось и к истории. Отец мог часами рассказывать мне, еще совсем несмышленому ребенку, и о падении Вавилона, и об испанской инквизиции, и о войне Алой и Белой розы, и о Вильгельме Оранском...

Отец читал мне много и стихов наизусть – у него была потрясающая память! Особенно он любил Лермонтова, Гёте, Эдгара По, Киплинга. «Завещание сыну» Киплинга он читал мне так проникновенно, как могут читать только свои собственные стихи. Отец и сам писал стихи. Без сомнения, он обладал подлинным дарованием.

Четыре строчки, написанные им в четырнадцать лет, до сих пор поражают меня своей отточенностью:

...Отстреливаясь от тоски,
Я убежать хотел куда-то,
Но звезды слишком высоки,
И высока за звезды плата.

Благодаря отцу я уже в шесть лет научился читать и писать и в восемь лет залпом читал без разбора – Дюма, Флобера, Шиллера, Бальзака, Данте, Мопассана, Толстого, Боккаччо, Шекспира, Гайдара, Лондона, Сервантеса и Уэллса. В моей голове был невообразимый винегрет. Я жил в иллюзорном мире, не замечая никого и ничего вокруг.

Я даже не замечал, что мои отец и мать разошлись и только скрывают это от меня...

...В сорок четвертом году мама и я возвратились из Сибири в Москву. Мама сразу уехала на фронт с концертной бригадой.

И однажды я впервые увидел наших врагов. Если не ошибаюсь в цифре – около двадцати тысяч немецких военнопленных должны были пройти по улицам Москвы в одной колонне.

Все мостовые были оцеплены солдатами и милицией и заполнены народом.

В основном это были женщины.

Русские женщины с руками, потрескавшимися от тяжелых работ, с губами, не привыкшими к помаде, с худыми сутулыми плечами, на которых они вынесли полтяжести войны. Наверно, у каждой из них немцы убили или отца, или мужа, или брата, или сына.

Женщины с ненавистью смотрели туда, откуда должна была вот-вот появиться колонна военнопленных.

Наконец она появилась.

Впереди шли генералы, надменно подняв массивные подбородки. Углы их губ были презрительно поджаты. Они всем своим видом старались показать аристократическое превосходство над победившими их плебеями.

– Одеколоном пахнут, сволочи! – ненавидяще сказал кто-то в толпе.

Рабочие руки женщин медленно сжимались в кулаки.

Солдаты и милиция уже из последних сил сдерживали их.

И вдруг я увидел, как одна немолодая женщина в грубых сапогах положила руку на плечо милиционера:

– Пропусти!

И что-то в ней такое было, в этой женщине, отчего милиционер отодвинулся.

Женщина подошла к колонне, вынула из-за пазухи что-то обмотанное в ситцевый платок, развернула. В платке была горбушка черного хлеба.

Женщина неловко сунула хлеб в карман измученного, еле держащегося на ногах солдата.

И вдруг со всех сторон к солдатам бросились женщины и стали им совать хлеб, папиросы...

Это были уже не враги.

Это были люди...

...С фронта приехала мама.

Она выглядела очень странно – худенькая-худенькая, с черными, непохожими на прежние светлые, волосами.

Сначала я думал, что она покрасила волосы. Я спросил у нее об этом.

Мама грустно улыбнулась и сняла с себя парик. На ее голове топорщился мальчишеский ежик. Мама заболела на фронте тифом, а в военных госпиталях стригли наголо. У мамы что-то случилось с голосом. Она пела на фронте по нескольку раз в день, стоя то на грузовике, то на танке перед солдатами, которые после этого шли умирать.

Мама рассказывала, что это были самые благодарные слушатели.

Мама пела им и в дождь, и в метель, согреваясь иногда только водкой из чьей-нибудь солдатской фляжки.

И ее голос, такой красивый и сильный, стал слабеть. Голос не выдержал.

По возвращении мама нашла работу; где – она мне не говорила.

Потом мальчишки из нашего класса спросили меня:

– Твоя мама певица?

– Певица, – гордо ответил я.

– А где она выступает?

– Я не знаю, наверно, в театре...

– В театре... – хмыкнули мальчишки. – Она в кино поет, в «Форуме»...

Был День Победы.

Ракеты одна за другой взвивались в небо. Мальчишки бегали по тротуарам, стараясь поймать их ослепительные брызги.

Люди обнимали друг друга, плакали и смеялись. Людям казалось, что все испытания остались позади и теперь начнется удивительно безоблачная жизнь.

А я пошел в кинотеатр «Форум».

Фойе было набито битком солдатами и женщинами. Пахло пивом и дешевыми духами. Из рук в руки ходили принесенные с собой бутылки водки. Пили прямо из горлышка, закусывая жадными поцелуями... Сегодня разрешилось все.

Никому не было дела до оркестрика, игравшего бравурные марши на крошечной эстраде.

Я вздрогнул.

На эстраду вышла женщина в платье, осыпанном блестками, в позолоченных туфлях и с густыми черными волосами, под которыми – я уже знал – был только застенчивый мальчишеский ежик.

Это была мама. Мама подошла к микрофону и стала петь. Голос ее был неуверен, и трудно было догадаться о его прежней красоте.

Никто не слушал маму.

Предпочитали целоваться и пить, пить и целоваться. Ведь была Победа! И за эту Победу 20 миллионов человек отдали свои жизни, а моя мама – свой голос.

Потом мы шли с мамой по ночной Москве сквозь крики, смех и музыку. Я нес мамин чемоданчик, в котором были сложены ее платье с блестками и позолоченные туфли. На маминых ногах снова были солдатские сапоги.

– Я плохо пела? – спросила меня мама.

– Нет, что ты, очень хорошо, – торопливо ответил я.

Мама посмотрела на меня долгим взглядом и грустно погладила по голове.

Вскоре она сошла со сцены и стала работать рядовым концертным администратором. Это была нервная, изнуряющая работа, а денег она приносила очень мало – 700 рублей в месяц. И вот на эту зарплату мама воспитывала меня и мою сестренку Елену, появившуюся во время войны.

Маме приходилось трудно со мной.

Характер у меня был ужасный – меня прямо-таки разъедало любопытство к жизни; и я из любопытства впутывался в самые невероятные истории.

То я попадал в компании самых настоящих воров, то в компании спекулянтов книгами. И отовсюду меня выволакивала мама.

Мама хотела от меня, чтобы я учился, учился и учился.

А учился я необыкновенно плохо.

К некоторым предметам я вообще был неспособен – например, к физике. Я до сих пор, кстати, не могу понять, что такое электричество и откуда оно берется.

Плохие отметки у меня всегда были по устному русскому. Писал я почти без ошибок, и мне казалось бессмысленным заучивать грамматические правила, если я и так пишу правильно.

Уже в школе начиналась – конечно, только в зародышевой форме – дифференциация моего поколения. За школьными партами сидели маленькие правдоискатели, маленькие герои, маленькие циники и маленькие догматики.

Я уже тогда не любил бездельничающих циников, иронически издевающихся надо всем и всеми, но точно так же терпеть не мог бессмысленно трудолюбивых тихонь, принимающих все на веру.

Сидя за партой под портретом Сталина, я жадно вглядывался в окно, где в воздухе медленно кружились белые хлопья.

И я удирал в другую школу – шумную школу города, где пахло снегом, сигаретами, бензином и дымящимися пирожками, которые продавали раскрасневшиеся от мороза лоточницы.

Возвращаясь домой, я садился за письменный стол, прилежно раскладывал ученические тетради, и, как только довольная мной мама оставляла меня, я писал стихи, пытаюсь придумать в них себе какую-то другую жизнь. Я переставал писать стихи только тогда, когда рука уже совершенно онемевала. В день иногда я писал по 10–12 стихотворений. Я бомбардировал своими стихами все редакции и неизменно получал отказы. Представляю себе, что подумала редакция «Пионерской правды», получив от школьника такого рода стихи:

Текла моя дорога бесконечная.
Я мчал, отпугивая ночи тень.
Меня любили вы, подруги встречные,
Чтоб позабыть на следующий день.

Однажды я собрал все свои стихи в большую тетрадь и послал их в редакцию издательства «Молодая гвардия».

И наконец получил ответ с просьбой зайти. Подписано письмо было поэтом Андреем Достальем. Я зашел.

Андрей Досталь, худощавый молодой человек с повязкой на глазу, делавшей его похожим на пирата, удивленно спросил:

– Вы к кому, мальчик?

Я показал ему письмо.

– А ваш папа, должно быть, болен и сам не смог прийти? – спросил Досталь.

– Это я написал, а не мой папа, – нервно ответил я, судорожно сжимая в руках школьный портфель.

Досталь недоуменно посмотрел на меня. Потом расхохотался:

– Здорово же вы меня провели. Я рассчитывал увидеть убеленного сединами мужчину, прошедшего огонь и воду и медные трубы. У вас же в стихах и война, и страдания, и любовные трагедии...

Находившиеся в комнате люди тоже смотрели на меня и улыбались.

Мне казалось, что надо мной потешаются. Мои глаза медленно наливались слезами.

Но Досталь, почувствовав это, обнял меня, усадил рядом и стал говорить мне о присланной тетради. Впоследствии мы подружились с ним. Он сам был небольшим поэтом, но любил поэзию и хотел видеть во мне то, что не смог осуществить сам. Вообще, в моей поэтической биографии мне помогли именно небольшие поэты. Они часто внимательнее, нежнее «больших». Но напечатать стихи мне все же не удавалось.

Однако на моем столе всегда лежал «Мартин Иден» Джека Лондона, и его первые страницы были для меня вдохновением и помощью. Тогда самым главным в «Мартине Идене» для меня были первые страницы. Теперь – последние.

Мама не хотела, чтобы я стал поэтом.

Не потому, что она не разбиралась в поэзии, а потому, что твердо знала одно: поэт – это что-то неустroенное, неблагополучное, мятущееся, страдающее. Трагическими были судьбы почти всех русских поэтов: Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли, жизнь Блока, сжигавшего себя в угарных ночах, в сущности, была самоубийством, повесился Есенин, застрелился Маяковский. Мама не говорила мне, но, конечно, знала и о гибели многих поэтов в сталинских лагерях. Все это заставляло ее бояться моего будущего поэтического пути, заставляло рвать мои тетради со стихами и уговаривать меня заняться чем-нибудь, по ее выражению, более серьезным.

Но самым серьезным мне казалось именно это.

И я продолжал писать с упорством маленького сумасшедшего.

...Я сражался в школе с ябедами, подхалимами, любимчиками.

Я быстро снискал себе репутацию хулигана. После седьмого класса меня перевели в новую школу, куда учителя сбывали с рук нерадивых учеников со всей Москвы. В ней я проучился недолго, ибо я выделялся даже там своими мятежами.

Я некоторое время пытался скрыть от мамы факт своего исключения из школы, зная, как это ее огорчит, но мне это не удалось. Мама в слезах настаивала, чтобы я шел к директору просить о снисхождении, сама хотела идти куда-то, но я был горд.

Я поехал к отцу в Казахстан.

Мне было пятнадцать лет.

Я хотел стать самостоятельным человеком.

Отец работал тогда начальником одной из геологоразведочных экспедиций.

Он посмотрел на меня, исхудавшего, оборванного, и сказал: «Ну вот что... Если ты действительно хочешь стать самостоятельным человеком, никто не должен знать, что я твой отец».

Я стал рабочим в геологоразведочной экспедиции.

Я научился долбить землю киркой, выкалывать молотком из породы плоские, как ладонь, образцы, расщеплять бритвой на три части оставшуюся единственную спичку и разводить костер во время дождя.

Я вернулся к маме загорелый и возмужавший.

После того как она встретила меня на вокзале, мы ехали с ней в трамвае и сбивчиво говорили о чем-то.

Вдруг я увидел, что все пассажиры удивленно смотрят на меня, а мама плачет.

Оказывается, в разговоре с мамой я по инерции употреблял сочные непередаваемые выражения, на которые в моем прежнем кругу никто не обращал внимания.

Но мама плакала.

И с той поры я никогда больше не ругаюсь. Почти никогда...

Когда мы приехали домой, я распорол брюки, в которых были зашиты честно заработанные деньги, и бросил их на стол.

– Как хорошо, что у нас теперь есть деньги, – сказала мама. – Мы наконец сможем сделать ремонт квартиры.

– Нет, мама, – сказал я твердо. – На эти деньги я куплю себе пишущую машинку.

– Какой ты стал жадный, – горько сказала она.

– Подожди немного, мама. Эта машинка отремонтирует нам квартиру, – ответил я.

И, не учась нигде, я продолжал бешено писать и снова бомбардировать редакции стихами. Но пишущая машинка не помогала – стихи не печатали. Кроме того, у меня была еще одна страсть – футбол.

Ночью я писал стихи, а днем играл в футбол – во дворах, на пустырях. Я возвращался в изодранных ботинках, в разорванных брюках, из которых торчали кровоточащие коленки. Самым упоительным звуком мне казался звук удара по кожаному мячу.

Обвести множество противников неожиданными финтами и дриблингами, а затем всадить «мертвый» гол в сетку мимо беспомощно растопыренных рук вратаря – все это казалось мне, да и продолжает казаться до сих пор, очень похожим на поэзию.

Футбол меня многому научил.

Потом я стал играть вратарем, и это научило меня не только нападать, но и зорко следить за малейшими движениями противников и предугадывать, когда эти движения обманны.

Это впоследствии помогло мне в моей литературной борьбе...

В футболе во многом легче. Если ты забил гол, тому есть прямое доказательство – мяч в сетке. Факт, как говорится, неоспорим. (Правда, и тут судьи могут не засчитать гол, но все-таки это исключения.) Если ты забиваешь поэтический гол, то чаще всего раздаются

тысячи судейских свистков, объявляющих этот гол недействительным, и доказать ничего невозможно.

И очень часто удары мимо ворот официально объявляются голами.

Спорт, несмотря на все махинации и грязь, вообще более чистая штука, чем литература.

И мне иногда очень жаль, что я не стал футболистом.

А я им чуть-чуть не стал.

В одном из матчей мальчишеских команд я особенно отличился. Я взял подряд три пенальти. После матча ко мне подошел тренер одной знаменитой команды и попросил зайти «на пробу». Все мальчишки отчаянно завидовали мне.

Но произошло одно событие, которое определило мою судьбу.

Я давно собирался отнести свои стихи в редакцию газеты «Советский спорт». Кажется, это была единственная газета, куда я еще ни разу не посылал своих опусов.

Я пришел туда после матча, в выцветшей синей майке, спортивных шароварах, рваных тапочках. В руках у меня было стихотворение, где подвергались сравнительному анализу нравы советских и американских спортсменов. Стихотворение было написано «под Маяковского».

Редакция «Советского спорта» помещалась в большой комнате на Дзержинке, где в табачном тумане несколько мистически вырисовывались какие-то стучащие на машинке, скрипящие авторучками, шуршащие гранками фигуры.

Я робко спросил, где отдел поэзии. Из тумана мне рявкнули, что такого отдела вообще нет.

Но вдруг из тумана высунулась рука, добро легла мне на плечо, и чей-то голос спросил: – Стихи? Покажите мне, пожалуйста...

Я сразу поверил этой руке и этому голосу.

И не ошибся.

Передо мной сидел черноволосый человек лет тридцати с красивыми восточными глазами. Звали его Николай Александрович Тарасов. Он заведовал сразу четырьмя отделами: иностранным, партийным, футбольным и литературным.

Тарасов посадил меня рядом, пробежал глазами стихи.

Потом спросил:

– Еще есть?

Я достал из-за пояса замусоленную тетрадку и стыдливо сказал:

– Только это не о спорте...

Тарасов улыбнулся:

– Тем лучше...

Он стал читать вслух стихи, не обращая внимания на трескотню пишущих машинок. Потом подозвал какую-то женщину и прочитал ей строчку, где виноградная гроздь сравнивалась со связкой воздушных шаров.

Потом он стал снова читать стихи вслух.

Вокруг стола столпилось уже много людей – журналистов, фотографов, машинисток. Они слушали.

Наконец Тарасов обвел глазами всех и спросил:

– Ну как – будет писать?

– Будет! – хором ответили все.

Чья-то рука хлопнула меня по плечу:

– Будет!

– Я тоже так думаю, – сказал Тарасов улыбаясь.

До сих пор я удивляюсь, как эти люди могли угадать во мне поэта. Видимо, им помогло то, что они не занимались собственно литературой и их головы не были захламлены всякого рода предвзятостями.

Все разошлись по своим столам.

Мы остались одни с Тарасовым.

Он взял мое стихотворение «Два спорта».

– Это самое плохое. Но оно для нас...

И написал на нем магическое, столь долгожданное мной: «В набор». И оно уплыло куда-то.

– Не думайте, что другие стихи очень хорошие. Но в них есть строчки – крепкие строчки.

Я глубокомысленно сделал вид, что понимаю выражение «крепкие строчки».

– Кого вы любите из поэтов? – быстро спросил Тарасов.

Я выдавил:

– Маяковского...

– Хорошо, но мало... Пастернака знаете?

– Знаю.

– Врете! А если и знаете, то знаете...

И он стал на память читать мне строки Пастернака, действительно неизвестные мне.

– Николай Александрович, опять вы Пастернака читаете! – шутливо пригрозила ему машинистка, иронически показывая на дверь, где крупно было написано «Редактор».

– Слава богу, мы все-таки в спортивной редакции, – усмехнулся Тарасов.

Он склонился со мной над тетрадкой и стал объяснять мне, что хорошо и что плохо. Особенно он не выносил вялости, водянистости. Все экспериментальное, находящееся иногда даже на грани безвкусицы, хвалил.

Потом спросил меня:

– Вы куда-нибудь торопитесь? Я хочу познакомить вас с одним моим другом, физиком.

Тарасов позвонил куда-то. Через некоторое время в редакцию пришел бледный человек тоже лет тридцати, с огромным лбом, судорожными движениями. Под мышкой он держал шахматную доску.

– Это мой друг – физик Володя Барлас, – сказал Тарасов. – А это поэт Евгений Евтушенко...

Тарасов был первым человеком, который назвал меня поэтом.

– Поэт? – недоверчиво поднял брови Барлас. – Это, знаете ли, многое... – И недоверчиво хмыкнул.

Мне он сначала почему-то показался ненормальным.

Мы вышли втроем из редакции в шумящую молодой июньской листвой Москву 1949 года.

– Поэт, – задумчиво повторил Барлас. – Ну а что же вы хотите сказать миру?

– Он хочет сказать миру, что он поэт. Это уже кое-что для начала, – защищал меня Тарасов.

Он волновался.

Видимо, этот странный человек с шахматной доской под мышкой и с огромным марсианским лбом многое означал для него. И видимо, для Тарасова уже кое-что означал и я.

Продолжая идти, я стал читать стихи: одно, второе, третье.

– Ну вот что, – наконец сказал Барлас, пронзительно глядя на меня, – конечно, вы талантливы... У вас есть напор, есть какой-то звон и гуденье в строчках... Но я пока не вижу за вашей душой ничего, кроме желания убедить мир, что вы талантливы. Мир еще, разуме-

ется, не убежден в этом, и сделать это будет не так легко. Но, предположим, мир поверит в вас. Мир будет ждать от вас каких-то очень важных слов. Что вы скажете?

– Володя, ему же только пятнадцать лет... – снова вступился за меня Тарасов.

– Надо об этом думать уже сейчас. Потом поздно будет, – жестко сказал Барлас.

– Все придет само собой. Главное для него – писать и ни о чем не думать. Ты слишком преувеличиваешь рациональное начало в поэзии, – возражал Тарасов.

– Само собой ничего не приходит... Эмоции – это прекрасно. Но только эмоции – это все-таки очень мало.

Я навсегда благодарен судьбе за то, что она послала мне встречу с этими людьми, во многом определившую мой дальнейший путь. Оба они хотели когда-то стать писателями, и у них это пока не получилось. Они видели во мне как бы свою неосуществленную молодость и хотели, чтобы надежды их молодости осуществились во мне. Мы бродили вдвоем всю ночь. И, расставаясь уже на рассвете, Тарасов ласково сказал мне, глядя на часы:

– Ну, через час газета с вашими стихами уже выйдет.

– Помните, что вы уже перестаете принадлежать только себе, – продолжал Барлас.

Но я не обратил внимания на его тревожные слова.

Я расстался со своими новыми друзьями и плутал по московским улицам, с трепетом ожидая мгновения, когда откроются газетные киоски, вместе с пьяницами, ожидавшими открытия пивных ларьков.

В семь часов утра я выхватил из рук продавца еще пахнущий типографской краской «Советский спорт», распахнул его и увидел стихотворение и свою фамилию под ним.

Я купил все экземпляры в киоске – штук пятьдесят! – и, размахивая ими, зашагал по улице.

Земля гудела у меня под ногами.

Я казался себе гением.

– Почитайте, тут есть кое-что интересное, – говорил я, даря газеты незнакомым прохожим, таращившим на меня глаза.

Я пришел к маме и торжествующе раскрыл перед ней газету. Не сказал бы, чтобы мама реагировала радостно.

– Да, с сегодняшнего дня ты окончательно погиб, – вздохнула мама.

Может быть, она и была права.

Днем Тарасов устроил мне, чтобы я получил гонорар – 350 рублей.

Паспорта у меня еще не было, и я получил гонорар по метрическому свидетельству.

Девушка из бухгалтерии еле сдерживала смех, разглядывая мою майку, рваные тапочки и нелепо облупленный солнцем нос.

– Он похож на гадкого утенка, – услышал я за своей спиной хихикающий голос. Но я засунул деньги в шаровары, вежливо попрощался и ушел с видом лебедя, которого еще поймут.

Я слышал от мамы и читал в книгах, что все поэты пьяницы.

Поскольку теперь я был поэтом, то я решил пропить свой гонорар. Я посоветовался, как это лучше сделать, со своим другом – пятнадцатилетним сыном нашего дворника. Он солидно сказал, что надо, конечно, пойти в ресторан, и, разумеется, с женщинами.

На роли женщин мы пригласили двух семнадцатилетних девочек, одна из которых работала в парикмахерской, другая – фрезеровщицей на заводе, и отправились по их рекомендации в ресторан «Аврора».

Этот крикливый и безвкусный ресторан, с гигантскими кариатидами и амурами, порхающими по потолкам, казался мне каким-то иным, волшебным миром.

Я рассматривал меню и, увидев надпись «сухое вино», немедленно потребовал его. Когда принесли бутылку, я страшно разочаровался. Я был уверен, что это вино в таблетках.

В общем, девчонки доставили меня к маме только под утро. Меня выворачивало наизнанку после волшебного мира.

Мама плакала. Я совсем забыл, что в десять часов утра у меня была назначена проба на стадионе.

Я поднялся с разламывающейся головой, кое-как оделся и поплелся туда.

Я встал в ворота, ничего не соображая.

Мяч двоился и троился в моих глазах.

Я не мог отразить ни одного удара.

Тренер подошел ко мне и участливо спросил:

– Ты болен? – Но, наклонившись ко мне, он потрясенно отшатнулся.

Тренер простер руки и, обращаясь к замершим футболистам, произнес:

– В десять часов утра! Пятнадцатилетний ребенок совершенно пьян! Мне стыдно жить в этом растленном веке!

Так бесславно закончилась моя футбольная карьера.

Как я уже сказал, Владимир Барлас и Николай Тарасов, встреченные мной в сорок девятом году, и их школьный друг Лев Филатов сыграли огромную роль в моем человеческом и поэтическом формировании.

Я просто не понимаю, как им не надоело нянчиться со мной при моем непоседливом характере.

Барлас был для меня живой библиотекой. Он открыл мне первоосновы современной философии. Он открыл мне, что существует Хемингуэй. Это только сейчас Хемингуэй издается в России миллионными тиражами. Тогда его книги были библиографической редкостью. «Прощай, оружие!», «Фиеста», «Иметь и не иметь», «Снега Килиманджаро» потрясли меня своей предельной сжатостью, концентрированной мужественностью.

Позднее моей любимой книгой Хемингуэя стал роман «По ком звонит колокол». На Западе некоторые считают, что этот роман второстепенен. Может быть, я слишком пристрастен, но образы старухи и девушки мне кажутся до сих пор одними из самых пронзительных образов в мировой литературе. А образ Марти, гениально ставящий проблему того, что фанатики, даже при всей их объективной честности, часто становятся преступниками! В этом образе предугадано многое, что случилось потом в истории...

Барлас открыл мне бывшие тогда тоже библиографической редкостью книги таких разных писателей, как Гамсун, Джойс, Пруст, Стейнбек, Фолкнер, Экзюпери...

Я был зачарован почти библейской метафоричностью Ницше «Так говорил Заратустра» и был потрясен, когда узнал, что книгами Ницше пользовались как идейным оружием фашисты.

Я был подавлен духовной высотой «Волшебной горы» Томаса Манна, сложенной, как из камней, из страданий человечества. Упивался размахом Уитмена, буйством Рембо, сочностью Верхарна, обнаженным трагизмом Бодлера, колдовством Верлена, утонченностью Рильке, жуткими видениями Элиота...

Классики русской литературы, казавшиеся мне скучными из-за неумелого преподавания в школе, становились для меня близкими, живыми людьми, раскрывались мне в красоте своего языка и глубине.

Надоевший в школе, как ежедневная гречневая каша, Пушкин разбил молодым веселым кулаком стекло своего официального портрета и вышел ко мне из рамы лукавый, дерзкий, пахнувший снегом и шампанским. Его трагический антидвойник – Лермонтов вынесся ко мне из страниц хрестоматий на взмыленной лошади, в дышащей Кавказом и порохом бурке. Обведенные темными тенями провидческие глаза Блока, растерянно кричащие дет-

ски-голубые глаза Есенина, мятежно насмешливые и в то же время горько обманутые глаза Маяковского взглянули на меня в упор.

Пастернака я тогда не понимал. Он был для меня чересчур усложненным, и я терял нить мысли в хаосе его образов. Барлас по несколько раз читал мне его стихи, с огромным терпением объясняя, растолковывая. Я необыкновенно переживал, что ничего не понимаю. Мне всегда была чужда высокомерная поза людей, которые, не понимая того или иного художника, обвиняют в этом не себя, а его.

И однажды со мной случилось чудо – Пастернак вдруг обрел для меня прозрачность, и с тех пор он мне кажется одним из самых простых, как небо и земля, поэтов.

Итак, это время было временем начала моего литературного образования с подаренными мне судьбой прекрасными учителями. На том, что я писал тогда, это еще не отражалось. Мое литературное образование и моя литературная жизнь развивались параллельно, не совмещаясь. После первой публикации я начал печататься в газете «Советский спорт» чуть ли не ежедневно. Я писал стихи, посвященные футболу, волейболу, баскетболу, боксу, альпинизму, гребле, конькобежному спорту, а также стихи к различным датам: к Новому году, к Первому мая, к Дню железнодорожника, к Дню танкиста и т. д. Этот вид газетной поэзии к датам был весьма распространен в нашей стране и, к сожалению, по сей день не изжит. Но для меня это вовсе не было холодной халтурой.

Писал я лихо, с задором.

Мышление мое еще созревало, я просто наращивал поэтические мускулы. Как гантелями, я играл аллитерациями, рифмами, метафорами.

Тарасов был прекрасным тренером в этом смысле. А то, о чем я писал, мне было не важно.

Но невинная ребяческая забава грозила незаметно превратиться в самораствление.

Я помню, как однажды Тарасов вызвал меня по телефону в редакцию. У меня шли в номере очередные первомайские стихи.

– Женья, главный редактор в панике, – неловко улыбаясь, сказал Тарасов. – Обнаружилось, что в ваших стихах нет ни слова о Сталине... А снимать стихи уже поздно.

– Что же делать? – спросил я.

– Знаете, Женья, чтобы вас не мучить, я сам за вас написал четыре строчки.

– Ладно, валяйте, – весело сказал я. Мне было все едино – со Сталиным или без Сталина.

Вскоре я очень хорошо усвоил: чтобы стихи прошли, в них должны быть строчки о Сталине. Это мне казалось даже естественным.

Теперь мне уже не надо было вписывать эти строчки – я писал их сам.

Я стал заправским газетным поэтом.

Уже все московские газеты в праздничные дни пестрели моими звонкими и пустыми, формальными упражнениями.

Мне показалось, что я продолжаю Маяковского. Но это мне только казалось.

На самом деле я учился не у Маяковского, а у Семена Кирсанова, удивительно талантливого поэта-экспериментатора, у которого были и настоящие вещи, но который тогда печатал в газетах массу эффектных, хотя и пустоватых стихов...

– Женья, вы уже научились тому, как писать, – сказал мне как-то Тарасов, – теперь нужно думать о том, что писать.

Барлас неодобрительно покачивал головой:

– Женья, хватит баловаться. Неужели я вам зря давал все эти книги?

Тогда я решил пойти к моему тогдашнему кумиру – Кирсанову, надеясь получить у него внутреннюю поддержку.

Уже седеющий поэт грустно посмотрел на меня.

– Вы думали, наверно, что мне понравятся ваши стихи, потому что они похожи на мои? – спросил он. – Но именно поэтому они мне и не нравятся. Я, старый формалист, говорю вам: бросьте формализм. У поэта должно быть одно неперемненное качество: он может быть простой или усложненный, но он должен быть необходим людям... Настоящая поэзия – это не бессмысленно мчащийся по замкнутому кругу автомобиль, а автомобиль «скорой помощи», который несется, чтобы кого-то спасти...

Меня задела до глубины души слова Кирсанова, но сила инерции была слишком велика. Я не мог остановиться.

В 1952 году вышла моя первая книжка «Разведчики грядущего», изданная в голубенькой обложке, соответствующей ее содержанию.

Пресса мою книгу весьма расхвалила, но, зайдя в книжный магазин, я увидел ряды моих «Разведчиков грядущего» в целомудренной неприкосновенности.

Вдруг какой-то парень, перебиравший поэтические сборники на прилавке, дошел и до моей книжки. Я с надеждой замер. Парень полистал книгу, потом, вздохнув, положил ее в общую гору.

– Не то, – сказал он продавщице. – Да все это разве стихи? Барабанный бой!

Это меня убило.

Вернувшись домой, я перечитал заново книгу и вдруг с предельной отчетливостью понял, что она никому не нужна.

Кому может быть дело до красивых рифм и броских образов, если они являются только завитушками вокруг пустоты? Что стоят все формальные поиски, если из средства они перерастают в самоцель?

Я вышел из дому и побрел, одинокий, сквозь огни. По улицам шли люди, возвращающиеся с работы, усталые, неся в руках хлеб и картонные коробки пельменей. Годы строек и войны, годы великих побед и великих обманов наложили на их лица свою трагическую тень. В их усталых взглядах и ссутуленных спинах было сознание невозможности что-то понять. Им нужно было нечто совсем другое, чем мои красивые рифмы.

Некоторое время я вообще ничего не мог писать. Я поступил в Литературный институт и жил на стипендию. Меня приняли в Литературный институт без аттестата зрелости и почти одновременно в Союз писателей, в обоих случаях сочтя достаточным основанием мою книгу. Но я знал ей цену. И я хотел писать по-другому. Я писал о своих сомнениях в себе, о своем ожидании большой любви и о разнице между подлинным и ложным, о страданиях и о горестях людей.

Когда я стал приносить в редакции свои новые стихи, то там не верили своим глазам. «Что с тобой случилось!» – недоуменно воскликнул заведомо поэзии одной из газет. Молодой поэт К., который всегда восторженно печатал мои прежние стихи на международные темы или стихи к праздникам, сказал: «Меня тревожит твоя грусть. Не стал ли ты преждевременно стариком, Женья? Нам нужны бодрые, зовущие вперед стихи».

Я не стал стариком. Я просто повзрослел. Этому человеку не было дано самому ощутить состояние повзроslения, и он принимал повзроslение других за преждевременную старость. Раздумья с оттенками грусти ему казались опасным пессимизмом. Но разве подлинное раздумье вообще возможно без грусти! Люди, видящие в грусти нечто опасное, сами представляют собой огромную опасность для человечества. Бодрячество лишь создает видимость того, что оно куда-то зовет. Бодрячество, вместо того чтобы двигать вперед людей, заставляет их плясать на месте. Как прекрасно сказал наш мудрый поэт Светлов: «Не надо уподобляться одному моему знакомому паровозу, который, вместо того чтобы расходовать пар на движение, тратит его на восторженные свистки!» Назойливо румяное бодрячество,

выставляющее напоказ бицепсы, на самом деле демобилизует и разлагает. А кажущаяся беспомощным созданием грусть, если она чиста и благородна, а не мелкосентиментальна, зовет нас вперед и своими тоненькими хрупкими руками создает величайшие духовные ценности человечества.

И поэт К. ошибался, встревоженный грустными нотками моих стихов, что я стал пессимистом.

Я остался оптимистом, как и прежде. Но раньше мой оптимизм был розовый. Теперь в нем были все существующие цвета спектра, включая и черный.

Но за такое понимание оптимизма надо было бороться.

Я столкнулся с довольно ощутимым сопротивлением и почти ничего не мог напечатать. В нашей литературной критике господствовала тогда пресловутая теория бесконфликтности. Ее авторы договорились до того, что в нашей советской жизни не может быть конфликта хорошего с плохим, а только хорошего с лучшим.

С обложек книг глядели бездушно улыбавшиеся рабочие и колхозники.

Почти все повести и романы оканчивались счастливыми развязками.

Темами полотен художников все чаще являлись правительственные банкеты, свадьбы, торжественные собрания и шествия.

Апофеозом этого направления явился один фильм, где в финале было изображено грандиозное пиршество тысяч колхозников на фоне электростанции.

Недавно я разговаривал с режиссером, поставившим этот фильм, – человеком умным и талантливым.

– Как вы могли поставить такой фильм? – спросил я. – Правда, я тоже писал такого рода стихи, но ведь я был сопляком, а вы – уже серьезным, сформировавшимся человеком.

Режиссер грустно улыбнулся:

– Видите ли, самое страшное для меня самого, что я был совершенно искренен. Мне казалось, что все это нужно для строительства коммунизма. И потом – я верил Сталину.

Почему же обманывались даже умные, талантливые люди?

Во-первых, Сталин сам по себе был фигурой сильной и выразительной. Сталин умел очаровывать людей. Он очаровал и Горького, и Барбюса. В 37-м году – году самых страшных репрессий – он сумел очаровать даже такого выдавшего виды и не склонного к романтизации человека, как Лион Фейхтвангер.

Во-вторых, имя Сталина в сознании советского народа было неразрывно связано с именем Ленина. (Напомню молодым читателям, что многие исторические факты о нетерпимости Ленина, порой переходившей в кровавую жестокость, тогда усиленно скрывались за семью печатями... – Е. Е., 1998.) Сталин всячески содействовал фальсификации истории, где его отношения с Лениным выглядели более дружескими, чем на самом деле.

Эта фальсификация зашла так далеко, что, может быть, и самому Сталину уже начала казаться правдой.

Пастернак тоже поставил два этих имени рядом.

И смех у завалин,
и речь от сохи,
и Ленин, и Сталин,
и эти стихи.

Сталинская теория, что люди – это винтики коммунизма, превращаясь в практику, давала страшные результаты.

Труд как символ становился выше тех, кто трудится.

Герои многих книг варили сталь, строили дома, сеяли пшеницу, но не думали, не любили, а если и делали это, то как-то безжизненно, неестественно.

Русская поэзия, так замечательно проявившая себя в годы войны, потускнела. Если иногда и появлялись хорошие стихи, то опять же о войне, о ней писать было проще.

Тиражи поэтических книг тогда зависели не от спроса покупателей, а от официального положения поэтов. Поэтому все магазины были завалены никому не нужными поэтическими книгами. Покупались только «Строки любви» Щипачева и переиздания военной лирики Симонова.

Простое, трогательное стихотворение молодого поэта Ваншенкина о первой мальчишеской любви, появившееся на фоне индустриально-колхозной поэзии, вызвало чуть ли не сенсацию. За первые книги молодого поэта Евгения Винокурова, вихрасто непричесанные среди общей причесанности, тоже жадно ухватились – в них была теплота. Но это общего положения не меняло. Поэзия была непопулярна. Старые поэты молчали, а если иногда и писали – это было хуже молчания. Поэтическое поколение, родившееся на гребне войны и подававшее большие надежды, сникло. Мирная жизнь оказалась сложнее фронта.

Крупнейшие русские поэты – Заболоцкий и Смеляков – были в лагерях. Выслан был и молодой поэт Мандель (Коржавин). Не знаю, останется ли его имя в русской поэзии, но оно останется, безусловно, в истории русской общественной мысли.

Это был единственный после Мандельштама поэт, который при жизни Сталина написал и открыто читал стихи против Сталина. То, что Мандель читал их, его, видимо, и спасло, ибо поэта, по всей вероятности, сочли ненормальным и всего-навсего выслали.

Цитирую так, как это когда-то ходило из уст в уста:

А там в Москве, в пучине мрака,
встал воплотивший трезвый век
не понимавший Пастернака
суровый, жесткий человек.

Замечательного поэта Леонида Мартынова после опубликования о нем статьи под заглавием «Нам с вами не по пути, Леонид Мартынов» несколько лет не печатали. Пастернак и Анна Ахматова занимались переводами. Поэтические вечера были редкостью и не привлекали внимания публики.

Некоторые поэты писали стихи, рассчитанные не на успех у читателей, а на получение Сталинской премии.

Однажды случайно я попал на заседание президиума правления Союза писателей, посвященное выдвижению кандидатов на премию. Меня потрясла почти коммерческая основа обсуждения.

Мне показалось, что здесь забывают о самом главном в литературе – нужны ли обсуждаемые книги людям? Я помню, как вдруг поднялся с места Твардовский и с раздраженностью пристыдил ораторов, славословящих по адресу одного поэта:

– Да на что вы время тратите! Такие стихи я могу любого теленка обучить писать!

Обсуждавшийся поэт «не прошел». Что он испытывал после таких уничтожающих слов? Стыд? Сомнение в самом себе? Ничуть! Злобно посверкивая глазами, он сказал так, чтобы никто не слышал и в то же время слышали все: «Ничего, я еще ее получу!» Вечером после обсуждения я видел другого поэта, который тоже «не прошел». Напившись, он кричал на весь ресторан: «Ее дали мертвому! А на что она ему! Я живой – она мне нужна!»

Сталинская премия означала многое: немедленное переиздание огромным тиражом, портреты и восторженные статьи во всех газетах, какой-нибудь официальный пост, получение вне очереди машины, квартиры и, может быть, дачи.

А в то время, когда в Союзе писателей шла суетливая возня вокруг золотых и серебряных медалей, по Москве чеканно военной походкой ходил прекрасный поэт Борис Слуцкий, напечатавший только одно стихотворение, да и то в сороковом году. И, как ни странно, он был спокойней и уверенней всех нервничающих кандидатов в лауреаты. Оснований для спокойствия у него как будто не имелось. Несмотря на свои 35 лет, он не был принят в Союз писателей. Он жил тем, что писал маленькие заметки для радио и питался дешевыми консервами и кофе. Квартиры у него не было. Он снимал крошечную комнатуху. Его стол был набит горькими, суровыми, иногда по-бодлеровски страшными стихами, перепечатанными на машинке, которые даже бессмысленно было предлагать в печать.

И тем не менее Слуцкий был спокоен. Он всегда был окружен молодыми поэтами и вселял в них уверенность в завтрашнем дне. Однажды, когда я плакался ему в жилетку, что мои лучшие стихи не печатают, Слуцкий молча открыл свой стол и показал мне груды лежащих там рукописей.

– Я воевал, – сказал он, – и весь прошит пулями. Наш день придет. Нужно только уметь ждать этого дня и кое-что иметь к этому дню в столе. Понял?!

Я понял.

Я продолжал писать, думая о дне, который придет, а не о том, напечатают стихи или нет.

Я не только писал стихи, но и выступал на различных литературных дискуссиях. У меня не было никакого ораторского опыта. Однажды по-петушину сорвал голос, в зале стали смеяться, и я, залившись краской, скомкал конец речи. Во второй раз, когда я стал резко критиковать одного дважды лауреата, напечатавшего дрянные стихи в «Правде» (Н. Грибачев. Стихи были такие: «Но время не пятится раком, и вставшим со свалок гнилых уже не схватить вурдалакам за горло народов живых». – *Е. Е.*, 1998), председатель, уже седой известный поэт (А. Сурков. – *Е. Е.*, 1998), грубо оборвал меня, сказав, что мое время истекло.

Я остоленело посмотрел на него – у меня еще оставалось пять минут по регламенту. Я не мог представить, что этот седой человек, знакомый мне с детских лет по портретам, лжет. И я подавленно сошел с трибуны.

Многие бездарные люди делали «литературную политику», привнося в нее всевозможные дурнопахнущие элементы, включая антисемитизм.

Поэт К. (Владимир Котов, автор песни «Не кочегары мы, не плотники». – *Е. Е.*, 1998), с которым по прихоти судьбы меня связывала юношеская неразборчивая дружба, не был лишен этого, мягко говоря, недостатка. Он меня пытался убедить в том, что вся история оппортунизма, начинавшаяся с Бунда, а затем продолжавшаяся в Троцком, имеет определенную национальную подоснову. Я спорил с ним до хрипоты. Он упрекал меня в политической близорукости.

Однажды после такого спора он ночевал у меня. И утром разбудил меня радостными криками.

В одних трусах он отплясывал чуть ли не африканский танец торжества, размахивая газетой, где было опубликовано сообщение об аресте врачей-отравителей:

– Видишь! А что я говорил? Это все евреи!

Надо сказать, что я поверил этому сообщению. Оно меня необыкновенно удручило, но все-таки не вызвало во мне антисемитизма, и радость поэта К. была мне неприятна.

В тот же день мы с поэтом К. пошли в кинотеатр, где шел старый фильм о революции. Один из эпизодов был о еврейском погроме в Одессе. И вот когда по экрану шли лавочники

и уголовники под лозунгами «Бей жидов, спасай Россию!», с булыжниками, к которым прилипли окровавленные волосики еврейских детей, наклонясь к поэту К., я сказал:

– Неужели ты хочешь быть похожим на этих?!

И вдруг, отстранившись от меня, он холодно ответил с металлическими нотками в голосе:

– Мы – диалектики. Не все из прошлого надо отбрасывать, Жень.

Его глаза светились гитлерюгендским блеском.

На отвороте пиджака мерцал комсомольский значок.

Я смотрел на него в ужасе, не в состоянии понять, что за человек сидит рядом со мной.

Теперь, когда с той поры прошло десять лет, я понимаю, что главное преступление Сталина не только в том, что по его приказу арестовывали и расстреливали. Его не меньшее преступление – моральное растление душ человеческих. Конечно, сам Сталин теоретически не проповедовал антисемитизм, но это проповедовала сталинская практика. Сталин теоретически не проповедовал карьеризма, угодничества, жестокости, ханжеского лицемерия. Но все это тоже проповедовала сталинская практика.

Пятого марта 1953 года произошло событие, которое потрясло страну, – умер Сталин. Представить его мертвым было почти невозможно – настолько он мне казался неотъемлемой частью жизни.

Было какое-то всеобщее оцепенение. Люди были приучены к тому, что Сталин думает о них о всех, и растерялись, оставшись без него. Вся Россия плакала, и я тоже. Это были искренние слезы горя и, может быть, слезы страха за будущее.

На писательском митинге поэты прерывающимися от рыданий голосами читали стихи о Сталине. Голос Твардовского – большого и сильного человека – дрожал.

Никогда не забуду, как люди шли к гробу Сталина.

Я был в толпе на Трубной площади. Дыхание десятков тысяч прижатых друг к другу людей, поднимавшееся над толпой белым облаком, было настолько плотным, что на нем отражались и покачивались тени голых мартовских деревьев. Это было жуткое, фантастическое зрелище. Люди, вливавшиеся сзади в этот поток, напирали и напирали. Толпа превратилась в страшный водоворот. Я увидел, что меня несет на столб светофора. Столб светофора неумолимо двигался на меня. Вдруг я увидел, как толпа прижала к столбу маленькую девушку. Ее лицо исказилось отчаянным криком, которого не было слышно в общих криках и столах. Меня притиснуло движением к этой девушке, и вдруг я не слышал, а телом почувствовал, как хрустят ее хрупкие кости, разламываемые о светофор. Я закрыл глаза от ужаса, не в состоянии видеть ее безумно выкаченные детские голубые глаза. И меня пронесло мимо. Когда я открыл глаза, то девушки уже не было видно.

Ее, наверно, подмяла под себя толпа. Прижатый к светофору, корчился какой-то другой человек, раскинув руки, как на распятии. Вдруг я почувствовал, что иду по мягкому. Это было человеческое тело. Я поджал ноги, и так меня понесла толпа. Я долго боялся опустить ноги. Толпа все сжималась и сжималась. Меня спас лишь мой рост. Люди маленького роста задыхались и погибали. Мы были сдавлены с одной стороны стенами зданий, с другой стороны – поставленными в ряд военными грузовиками.

– Уберите грузовики! Уберите! – истошно вопили в толпе.

– Не могу, указания нет! – растерянно кричал молоденький офицер милиции с грузовика, чуть не плача от отчаяния. И люди, швыряемые волной движения к грузовикам, разбивали головы о борта. Борта грузовиков были в крови. И вдруг я ощутил дикую ненависть ко всему, что породило это «указания нет», когда из-за чьей-то тупости погибали люди. И в этот момент я подумал о том человеке, которого мы хоронили, впервые с ненавистью. Он не мог быть не виноват в этом. И именно это «указаний нет!» и породило кровавый хаос

на его похоронах. Но отныне и навсегда я понял, что нечего ждать указаний, если от этого зависят жизни человеческие, – надо действовать. Не знаю, откуда во мне явились силы, но я, энергично работая локтями и кулаками, стал расшвыривать людей и кричать им:

– Делайте цепочки! Делайте цепочки!

Меня не понимали. Тогда я стал всовывать руки людей друг другу, ругаясь самыми страшными словами из моего геологоразведочного лексикона. Несколько крепких парней стали помогать мне. И люди поняли. Люди стали браться за руки, образовывая цепочки. Эти парни и я продолжали действовать. (Рядом оказался поэт Герман Плисецкий, который впоследствии написал об этом гениальное стихотворение «Труба». – *Е. Е., 1998.*) Водоворот стал утихать. Толпа перестала быть зверем.

– Женщин и детей в грузовики! – заорал один из парней.

И над головами, передаваемые из рук в руки, поплыли в кузова грузовиков женщины и дети. Одна из передаваемых на руках женщин билась в истерике, что-то выкрикивала. Офицер милиции гладил ее по голове, неумело успокаивая. Вдруг женщина вздрогнула несколько раз и затихла. Офицер снял фуражку, закрыл ею застывшее лицо женщины и заревел, как ребенок. А я увидел, что где-то впереди продолжается водоворот.

Мы пошли туда с этими парнями. При помощи мата и кулаков мы снова стали организовывать людей в цепочки, чтобы спасти их.

Милиция наконец тоже стала нам помогать. Все успокоилось.

Мне уже почему-то не хотелось идти к гробу Сталина. Мы с одним парнем (с Германом. – *Е. Е., 1998*) чудом выбрались из этого водоворота, купили поллитру водки и пришли ко мне домой.

– Ты видел Сталина? – спросила мама.

– Видел, – необщительно ответил я, чокаясь с этим парнем (с Германом. – *Е. Е., 1998*) граненым стаканом.

Я не соврал маме. Я действительно видел Сталина, потому что все произошедшее – это и был Сталин.

Этот день был переломным в моей жизни, а значит, и в моей поэзии.

Я понял, что за нас больше никто не думает, а может быть, за нас никто и не думал раньше. Я понял, что надо много думать самим, думать, думать, думать... Я не хочу сказать, что тогда я мгновенно осмыслил всю степень вины Сталина. Я еще продолжал некоторое время несколько идеализировать его. Многие сталинские преступления были еще неизвестны.

Арестованных врачей реабилитировали.

Это известие потрясло народ, в общем поверивший в их виновность. Доверчивый наш народ приходил к пониманию того, что доверчивость может стать опасной.

Я видел по-ястребиному хищное лицо Берию, закутанное в кашне, когда он прикидал к стеклу машины, медленно ехавшей вдоль тротуара в поисках очередной женщины. После этого тот же самый человек обращался к народу, патетически говоря о коммунизме.

Пуля, всаженная в Берию, была справедливостью, но такой запоздавшей! Справедливость, перефразируя Цветаеву, это тот поезд, который почти всегда опаздывает.

Появлялись первые реабилитированные люди из дальних лагерей.

Они привозили с собой вести о гигантских размерах совершенных несправедливостей.

Народ напряженно думал. Это напряжение чувствовалось во всем.

Это напряжение не могли ослабить речи Маленкова – человека с бабьим лицом и хорошо поставленной дикцией, говорившего о том, что надо решить проблемы питания, костюмов и галантереи.

Я был растерян.

Но, может быть, эта смятенность существовала только в Москве – в центре захлестывающих друг друга, как волны, политических событий? А может быть, где-то в глубинах России царило духовное равновесие? Я поехал на станцию Зима. Я хотел уехать от моих раздумий, иногда меня пугавших. Но мои собственные раздумья я узнавал в разговорах соседей по вагону – инженеров, агрономов. И мои собственные раздумья я встретил на станции Зима, в первых вопросах моих двух дядьев – начальника местной автобазы и слесаря. Я приехал в родной край за ответом на все мучившие меня вопросы, а родной край ожидал от меня этих ответов. И в Москве, и на станции Зима думали об одном и том же. Вся Россия была как одно огромное раздумье, простиравшееся на тысячи километров от Балтики до Тихого океана...

Но многих подстерегала огромная опасность – от слепой веры перейти к безверию. Особенно молодое поколение.

В 1954 году я был в одном московском доме, среди студенческой компании. За бутылками сидра и кабачковой икрой мы читали свои стихи и спорили. И вдруг одна восемнадцатилетняя студентка голосом шестидесятилетней чревоушительницы сказала:

– Революция сдохла, и труп ее смердит.

(Это была Юнна Мориц... – *Е. Е., 1998.*)

И тогда поднялась другая восемнадцатилетняя девушка с круглым детским лицом, толстой рыжей косой и, сверкая раскосыми татарскими глазами, крикнула:

– Как тебе не стыдно! Революция не умерла. Революция больна. Революции надо помочь.

Эту девушку звали Белла Ахмадулина. Она вскоре стала моей женой.

Интимная поэзия, бывшая чуть ли не запретным плодом при Сталине, заполнила все газеты и журналы, прорвав плотину. Но она не пользовалась особым успехом. Перед лицом гигантских исторических процессов, происходящих в стране, интимная поэзия выглядела несколько инфантильно. Флейты уже были.

Нужна была боевая труба.

Опубликованная после длительного перерыва книга Мартынова была, если разобраться, флейтой, но молодежь слышала в ее звуках голос боевой трубы, ибо страстно хотела это слышать. Усложненные гиперболы и метафоры Мартынова давали возможность предполагать в них, может быть, гораздо большее, чем в них содержалось. И неожиданно для самого себя лирик Мартынов прозвучал как гражданский поэт, поднятый на волнах вспененного времени. По его собственным словам, «удивительно мощное эхо – очевидно, такая эпоха!».

Действительно, даже тихо произнесенная правда приобретала мощь и грохот политического эха.

Один маститый (А. Сурков. – *Е. Е., 1998*), обращаясь к молодым писателям, однажды поучающе заявил:

– Зачем вы все куда-то так далеко ездите – в Сибирь, на Камчатку! Это все очень дорого стоит государству. Садитесь на трамвай, купите билет за пятнадцать копеек и поезжайте на московский завод.

Тогда встал один молодой писатель (Миша Рощин. – *Е. Е., 1998*) и, грустно глядя на маститого, сказал:

– Алексей Александрович, уже почти десять лет, как трамвайный билет стоит не пятнадцать копеек, а тридцать!

Я давно хотел написать стихи об антисемитизме. Но эта тема нашла свое поэтическое решение только тогда, когда я побывал в Киеве и воочию увидел это страшное место, Бабий Яр.

Я отнес стихотворение в редакцию «Литературной газеты» и прочитал его своему приятелю, работавшему там (Всеволоду Ревичу. – *Е. Е.*, 1998). Он немедленно побежал в соседние комнаты и привел коллег и заставил меня еще раз прочитать его вслух. Затем спросил:

– Нельзя ли было бы копию сделать? Я хотел бы, чтобы у меня было это стихотворение...

– И нам, и нам копии, – стали просить коллеги.

– То есть как – копии? – недоуменно спросил я. – Я же принес его печатать...

Все молча переглянулись. Никому это даже в голову не приходило.

Потом один из журналистов, горько усмехнувшись, сказал:

– Вот он, проклятый Сталин, как в нас еще сидит...

И подписал стихи в номер.

– Ты не уходи, – сказал мне мой приятель. – Еще редактор не читал. Может быть, вопросы будут...

Часа два, нервничая, я сидел в одной из редакторских комнат. Поминутно заглядывали журналисты из всех отделов, говорили какие-то успокаивающие слова, но весьма неуверенными голосами. Машинистки приносили конфеты. Вдруг открылась дверь и появился старичок-наборщик в рабочем халате:

– Ты Евтушенко будешь? Дай руку, сынок. Я набрал твой «Бабий Яр»... Правильная вещь! Все рабочие у нас в типографии читали и одобряют... Я, брат, в молодости в рабочей дружке участвовал. Евреев от погромщиков защищали.

Старичок что-то еще говорил, и мне как-то спокойнее становилось на душе.

Наконец меня попросили зайти к редактору. Редактор В. Косолапов – немолодой уже человек – поглядел на меня своими хитрыми крестьянскими глазами из-под седых клочковатых бровей. Эти глаза много повидали на своем веку.

– Хорошие стихи, – с расстановкой сказал редактор, испытующе глядя на меня.

По своей практике я знал, что когда начинают с этой фразы, то стихи затем обычно не идут.

– Правильные стихи, – так же с расстановкой продолжал редактор. Ну теперь-то уж я совершенно был уверен, что стихи не пойдут.

– Будем печатать, – сказал редактор.

Обычная хитринка вдруг исчезла из его глаз. Его глаза посуровели.

– Конечно, может быть всякое... Ты это учти.

– Я учитываю, – ответил я.

Я снова возвратился в редакторскую комнату. Завтрашний номер выходил обычно в семь вечера. Все журналисты, уже окончившие свою работу, остались – тоже ждали номера. Пробило семь часов. Редактор еще не подписал номера. Пробило восемь. Редактор зачем-то послал машину за своей женой на дачу. Пробило девять. Ко мне зашла молодая красивая женщина – главный инженер типографии – и молча показала уже готовые листы, только на том месте, где должно было стоять мое стихотворение, зияло белое пятно. Пробило одиннадцать. К редактору приехала его жена. В половине двенадцатого редактор попросил меня зайти.

– Я пойду с вами! – нервно сказала женщина-инженер. – Если что-нибудь не так, я скажу, что уже невозможно не напечатать... Сошлюсь на какие-нибудь технические причины.

Мы зашли.

Редактор и его жена, уже в пальто, стояли над листами.

Женщина-инженер, увидев, что листы с моим стихотворением подписаны редактором, схватила их и, весело, как девчонка, припрыгивая, помчалась в типографию.

– С женой я решил посоветоваться, – сказал редактор. – Она мой большой друг... Видите, и она одобрила... Идите смотреть, как сейчас стихи из-под машины будут вылетать.

Я спустился в типографию. Рабочие пожимали мне руку. Женщина-инженер махнула рукой, и машина заработала. И вдруг что-то затрещало, грохнуло и машина остановилась. Я был настолько взвинчен, что совершенно оцепенел. Старичок-наборщик ласково тронул меня за плечо:

– Одну минуточку потерпи еще, сынок.

И машина снова заработала, и первые экземпляры газеты один за другим стали падать к моим ногам.

– Завтра эта газета станет библиографической редкостью, – сказала женщина-инженер, протягивая мне охапку номеров.

Я расцеловался и с ней, и с рабочими. Мне казалось, что мы вместе написали эти стихи.

На следующий день все номера «Литературной газеты» были распроданы в киосках молниеносно. Уже в первый день я получил множество телеграмм от незнакомых мне людей. Они поздравляли меня от всего сердца. Но радовались не все.

Через несколько дней газета «Литература и жизнь» опубликовала стихи Алексея Маркова, написанные в ответ на «Бабий Яр», где я назывался пигмеем, забывшим про свой народ, а еще через три дня та же газета в обширной статье обвинила меня в том, что я попираю ленинскую интернациональную политику и возбуждаю вражду между народами. Обвинение чудовищнее и нелепее этого трудно было представить! И стихи А. Маркова, и статья вызвали огромную волну общественного возмущения. Я был завален письмами, идущими со всей страны.

Однажды утром ко мне пришли два молодых человека, роста примерно метр девяносто каждый, со значками «Мастер спорта» на пиджаках, и объяснили, что их прислала меня охранять комсомольская организация их института.

– Охранять? От кого? – удивился я.

Молодые люди смущенно пояснили мне, что, конечно, народ очень хорошо принял мое стихотворение, но у нас и сволочи тоже попадают. Так они сопровождали меня, как тени, несколько дней. Я потом поближе познакомился с ними, и выяснилось, что они сами вовсе не являются большими знатоками поэзии. Комсомольская организация выделила их по принципу физической силы – один из них был боксером, второй – борцом. Это было немножко смешно, но в общем необыкновенно трогательно.

...Один студент в парижском кафе, далеко не лучший из внуков Французской революции, сказал мне:

– Я вообще за социализм... Но я хочу подождать, пока у вас появятся такие магазины, как наш «Галери де Лафайет». Тогда, может быть, и я буду бороться за социализм...

Ему, видите ли, подавай будущее на серебряном блюде, хорошо поджаренное, подрумяненное, да еще с веточкой укропа, торчащей изо рта, тогда он, может быть, поковыряет его вилочкой².

Мы делали будущее сами, отказывая себе в самом необходимом, мучаясь, ошибаясь, но делали сами.

И я горд, что я не наблюдатель, а участник в этой борьбе за будущее.

² Постскрипtum 1989 года: «А все-таки хорошо, если бы у нас были такие магазины, как „Галери де Лафайет“». – Е. Е.

Исповедь перед путчем

В эту августовскую ночь мой пес Бим вылез на переделкинской даче, терзая зубами штакетник и пытаясь проломиться грудью и мордой сквозь забор. Он вылез не от каких-либо политических предчувствий, а оттого, что ему смертельно хотелось туда, за забор, где по нему страдала такая же косматая и большущая, как он, его любимая.

Они были собаки одной породы, родственной сенбернарам, – московские сторожевые, но трагедия состояла в том, что у бедного Бима не было документа, удостоверяющего его породистость, а хозяева его любимой не хотели тратить ее страсть на то, чтобы появились щенки от беспаспортного и поэтому сомнительного, по законам собачьей бюрократии, отца.

Когда я вышел во двор, чтобы успокоить Бима, он уже настолько изнемог от борьбы с забором, стоящим поперек его желания, что лежал в траве под яблоней и терся носом, наверно горячим, о нос любимой, просунутый сквозь щель в заборе, и они оба уже не выли, а жалобно скулили. Собаки плакали слезами большими, как августовский крыжовник.

Луна была щедрая, и в ее холодном разливистом свете поблескивали зеленые лампочки редких в том году яблоч, янтарные бусы облепихи, агатовые ожерелья черной смородины, влюбленные глаза собак, полные слез, и роса на стеблях травы, как маленькие глаза земли. Алые ягоды огней на крыльях пролетающих над Переделкином самолетов казались тоже частью природы.

Бим был так опечален, что совсем затих, и даже ночная бабочка не испугалась сесть на его мохнатый, взмокший от страсти загривок и была похожа на белый, трепещущий лепестками цветок, переброшенный ему сквозь забор его косматой любимой – в награду за не вознагражденную любовью верность.

Я вернулся в дом, где мой младшенький – годовалый Митя – смирнехонько спал, похожий на черепашонка, а мой старшенький – двухлетний Женя – даже с закрытыми глазами ворочался с боку на бок, мотал головой, скидывал с себя одеяло, всячески буйствовал, как будто унаследовал от отца вместе с именем полную невозможность спокойно усидеть, улечься на одном месте.

– Полосатый придет, полосатый... – бормотал он во сне, подразумевая под этим словом все тигриное, страшное, неожиданное, кусачее.

– Не придет никакой полосатый, не бойся. Папа с тобой... – прошептал я, закрывая его одеялом, и он успокоился. Я был единственным, кого он слушался.

Моя жена Маша спала, и только голубые жилочки под прозрачной кожей ее северного лица не спали, пульсировали, трепетали, будто крошечные ручейки под тончайшим первым льдом, и у меня перехватило дыхание от любви, как тогда, когда мы остались с ней наедине пять лет тому назад в карельской избушке на курьих ножках, и белая ночь заливала трепещущим сиянием комнату, и сама Маша была похожа на белую ночь с озерами глаз, и я боялся ее поцеловать, словно мои поцелуи могли разрушить ее, как видение, сотканное из тумана. Встретившись с Машей и еще совсем не зная ее, я вдруг рассказал ей всю мою жизнь, переломанную мной настолько, что меня самого почти не осталось.

Я рассказал тогда Маше три моих любви.

* * *

Первая из них случилась, когда я был совсем молод и любил ту, которая была еще больше, чем я, молода.

В ее жилах скакала необъезженная татарская кровь и величаво всплескивала итальянская, как медленная вода венецианских каналов, качающая на себе золотые решетчатые окна постепенно погружающихся, словно Атлантида, аристократических палаццо.

С татарской стороны она была, безусловно, наделена ханской кровью, ибо принимала ухаживания повально в нее влюблявшихся поклонников как нечто само собой разумеющееся, словно бахчисарайская красавица в прозрачных шальварах, овеваемая почтительными опахалами. У нее были раскосые глаза сиамской кошки, снисходительно позволяющей себя гладить, но не допускающей посторонних в свои мысли, скрытые под мягкой, но непроницаемой шерстью, и голос соловья, который издавал колоратурное журчание изнутри нее.

Она выглядела не как реальная женщина, а как произведение, созданное невесомой кистью Боттичелли, хотя ее папа-татарин работал чиновником московской аэропортовой таможни, подавленно молчаливый, очевидно от созерцания бриллиантов, выковыриваемых им из чьих-то каблуков, а ее полуитальянка-мама служила переводчицей в КГБ в звании майора, что не отменяло ее незащитной сентиментальности и панического страха перед собственным учреждением, в которое она попала, скорее всего, из-за того же самого страха, не позволившего ей отказаться.

Когда маму жены послали на два года в Нью-Йорк – что-то там переводить в ООН, она заботливо оставила дочери доверенность на часть зарплаты, потому что жили мы хоть и весело, но бедно. Когда много друзей, денег всегда не хватает.

Однажды жена заболела и попросила меня получить деньги вместо нее по доверенности матери. Для этого на меня была оформлена особая доверенность на доверенность. Жена мне объяснила, что бухгалтерия КГБ находится напротив главного здания на Лубянке – в небольшом особняке и что там есть особое правило – посетители входят в одну дверь, а выходят в другую, чтобы не сталкиваться со следующими рыцарями щита и меча.

Я пошел с восторженным и холодящим колени любопытством, предвкушающим прикосновение к государственной тайне. Дверь в государственную тайну была со двора. На двери, обитой самым обыкновенным дерматином, ничего не было написано, но за ней стоял курносенький, исполненный собственной значительности часовой. Он проверил мой студенческий билет, доверенность и пропустил, предупредив, что выход – через другую дверь, в конце коридора. Но я об этом уже знал, и на этот счет у меня был разработан особый план.

В бухгалтерии было несколько столов, за которыми сидели такие же обыкновенные женщины, как и в любых других бухгалтериях. Разница состояла только в том, что, когда толстенная бухгалтерша протянула мне толстенную расходную книгу для расписки в получении, она прикрыла все другие фамилии пластмассовым трафаретом, где был узенький вырез для моей подписи. Расписываясь, я нарочно забыл на столе мой студенческий билет и, выйдя из бухгалтерии, не пошел к выходу, а неожиданно вернулся вопреки всем инструкциям.

– Извините, я забыл свой... мой документ у вас на столе... – сказал я, прикидываясь невинной овечкой.

Бухгалтерша злобно зашипела на меня, как гусыня в чине не меньше полковника, но было уже поздно.

Я своего добился – я увидел следующего получателя.

Расписываясь в той же самой платежной ведомости, над столом склонился литературный карлик, воспевавший в своих детективных романах мужественных героев совплаща и совкинжала в духе сомнительной шпионской романтики со скрупулезным знанием дела, не оставлявшим сомнения в его собственной профессии. В твидовом клетчатом пиджаке, вишневых ботинках на каучуковой подошве, с данкиловской трубкой во рту, он сам был похож на изображаемых им американских шпионов.

Позднее, сталкиваясь со мной на разных литературных собраниях, он никогда не приближался (очевидно, из конспиративных, по его мнению, соображений), но полузаметно здо-

ровался со мной глазами, преисполненными понимания нашей общей значительной роли в истории человечества.

Моя любимая, которой я рассказывал о сей знаменательной встрече, сталкиваясь с этим карликом где-нибудь в ресторане, начинала неудержимо хохотать. Мы были еще очень молоды, и грязь не прилипала к нашей юной коже, и мы умели весело смеяться даже над стукачами, которые при другом развитии истории вполне могли бы стать нашими убийцами.

Моя любимая жила вообще в другом измерении – там, где не было ни партии, ни КГБ, а были Пастернак, Ахматова, Цветаева и вся красота мира, включая ее собственную.

В нее влюблялись все – и похожий на потрескавшегося мраморного амурчика, не по возрасту оживленный композитор, присылавший ей корзины цветов, которыми мы кормили соседскую козу, содержащуюся на седьмом этаже, и хозяин этой козы – апоплексический майор, вбивший в голову, что свежее козье молоко спасает от высокого давления, хотя это не мешало ему параллельно сотворять в нашей коммунальной кухне ядовито-желтый самогон в ведре на газовой плите при участии сахара, марли, щепочек и сложных стеклянных конструкций, и два юных провинциальных поэта, осыпанные прыщами от нереализованных желаний, один из которых чуть не покончил самоубийством, когда она неожиданно распахнула дверь в деревянной переделкинской уборной и увидела своего воздыхателя, сидящего орлом на толчке, да еще и с «Комсомольской правдой» в руках.

От растерянности перед ее совершенно несоветской, вызывающе неколлективной красотой и возвышенной манерой говорить в стиле журналов «Аполлон» и «Золотое руно» жэковские сантехники ошеломленно роняли в унитаз свой инструмент, несмотря на то что они почти утратили половые признаки из-за погруженности в напряженные мысли: как бы получить от клиентуры на бутылку.

А однажды на ее кухоньке я увидел похожего на вислоносого Дуремара, оглушительно вонючего человека, носки которого пахли рокфором, а руки – стрихнином. Она вдохновенно читала ему стихи, и от переливов ее соловьиного голоса он затравленно озирался и рыдал, хлюпая не только кроличьими красными глазами, но и не менее красным носом, похожим на вареного рака, у которого уже оторвали клешни.

– Это Федот Порфирьевич, – восторженно представила она его. – Посмотри на его прелестное лицо оскорбленного ребенка. Посмотри, какие нетронутые глубины его души всколыхнула поэзия. Сколько в нем чистого, хотя, в отместку за эту его чистоту, злые люди его швырнули в, может быть, самую грязную профессию... Ведь он, ведь он... мне даже страшно выговорить это слово – крысомор. А ведь среди крыс тоже, наверно, есть свои великие поэты, и мы их тоже убиваем, убиваем, да еще и вовлекаем в это преступление таких непорочных людей, как Федот Порфирьевич. Ведь ему так тяжело.

– Да куда уж тяжче... – высморкался в свой засаленный шарф Федот Порфирьевич. – Бывалоча, стрихнин нам отпускали от души, не вешая. А теперь даже на стрихнине экономят. Полпорции сыпанешь, а крыса заглотнет и не умирает – только мучается. А пищат как жалостно – ни дать ни взять крысиная лебединая песня.

Когда я ее впервые пригласил в Дом литераторов на встречу Нового, 1954 года, она волновалась, готовилась, с особым трепетом одевалась – ведь ей предстояло знакомство с «живыми писателями». Она переживала, что у нее нет хороших туфель, и я купил ей первые в жизни туфли на высоких каблуках – они были китайские, из зеленой замши, с такими же замшевыми розочками.

Писатели, которые собрались, были все гораздо старше нас, но я всегда дружил с теми, кто старше. Она смотрела на них потрясенно, как на портреты, превратившиеся в людей.

Тамадой избрали кавказского прозаика, всегда неунывающего, полного застойной энергии, похожего на неостановимо снующий сперматозоид с длинным лукавым носом. Тогда она первый раз услышала слово «тамада». Первое, что сделал новоизбранный тамада,

это снял пояс со штанов и надел его поверх пиджака, якобы по какому-то, только ему известному, кавказскому обычаю.

Таким невеличавым поведением лауреата Сталинской премии она была раздавлена, как хрустальный бокал мусоровозом.

Известный фронтовой поэт, тоже лауреат и тоже Сталинской премии, бывший футболист, с носом приплюснутым, как у боксера, почему-то скомкал бумажную салфетку и начал с дворовой виртуозностью подбивать ее в воздухе внутренней стороной ботинка, выражаясь по-футбольному – «щечкой». Именно так тогдашняя дворовая шпана играла на интерес или даже на деньги – кругленьким кусочком меха со свинцовой пластинкой посередине – это называлось «пушок» или «зоска».

Другой поэт, тонкий нежный лирик, только-только вернувшийся из лагерей, где в три приема в целом провел лет четырнадцать, быстро напился и нажрался, наверно от съедавшего его, как болезнь, лагерного страха, что водка и жратва скоро кончатся, и, облизываясь длинным багровым языком муравьеда, начал незло, но активно употреблять сочные русские слова восьмого цвета, не входящие в официальную радугу, одобряемую педагогикой и цензурой. Но для восемнадцатилетней итальяно-татарки, которая религиозно дышала поэзией, как жрица благовониями храма, поэт, играющий в «зоску» или ругающийся матом, выглядел так же чудовищно, как орхидея, намазанная селедочным маслом.

Один из «живых писателей» был вдобавок одноглаз, другой горбат, а у третьего была расстегнута ширинка.

Словом, все, вместе взятые, «живые писатели» в наполненных неподдельным ужасом восемнадцатилетних глазах представляли скопище монстров. Оскорбленная в своих трепетных ожиданиях наконец-то узреть «живых писателей» как неземных существ, питающихся исключительно мороженым из сирени и паштетом из соловьиных языков, она потихоньку встала, вытащила меня умоляющим взглядом из кабинета, где мы пировали, и потребовала, чтобы мы немедленно ушли.

Я рассердился на нее, считая это высокомерным капризом. Я был по-юному жесток и, чтобы наказать, не проводил ее.

Она шла одна через всю завьюженную новогоднюю Москву, и ее китайские зеленые замшевые туфли утопали в снегу.

Справедливости ради надо сказать, что в некоторых из тех, кто сначала показался ей монстрами, через некоторое время она, как девочка из «Аленького цветочка», увидела нежные души, спрятанные по злему колдовству времени в косматые шерсти мата и пьянства, и эти кажущиеся монстры стали ее друзьями.

Мы часто ссорились, но быстро и мирились. Мы любили и друг друга, и стихи друг друга. Одно новое стихотворение, посвященное ей, я надел на весеннюю ветку, обсыпанную чуть проклюнувшимися почками, и дерево на Цветном бульваре долго махало нам тетрадным, трепещущим на ветру листком, покрытым лиловыми, постепенно размокающими буквами.

Взявшись за руки, мы часами бродили по Москве, и я забегал вперед и заглядывал в ее бахчисарайские глаза, потому что сбоку были видны только одна щека, только один глаз, а мне не хотелось терять глазами ни кусочка любимого и потому самого прекрасного в мире лица. Прохожие на нас оглядывались, ибо мы были похожи на то, что им самим не удалось.

Мне хотелось ей подарить что-то самое красивое, что-то самое большое. Этим самым красивым, самым большим для меня было море. «А для меня в музеях и квартирах // оно висело в рамах под стеклом. // Его я видел только на картинах // и только лишь по книгам знал о нем».

Первый раз я увидел море еще в пятьдесят втором году, еще без моей любимой, когда мы с моим школьным товарищем восторженно выпрыгнули из раскаленного поезда Москва

– Сухуми на разъезде у Туапсе, стянули прилипшие к телу рубахи и брюки и в доколенных черных сатиновых трусах моего поколения, не знавшего плавок, ринулись внутрь прохладно кипящего изумруда, растворенного в огромной чаше с необозримыми краями.

На сухумском перроне нас обступили жирноголосо зазывающие квартирные хозяйки, пахнувшие примусами и жареной кефалью, но мы почему-то подошли не к ним, а к печальной женщине в черном, одиноко стоявшей поодаль и ничего не кричавшей. У нее был некрасивый, но одновременно красивый нос с горбинкой и побитые, но одновременно гордые, обугленные глаза. Она оказалась многодетной гречанкой, почти вдовой – ее мужа вместе с другими многими греками ни за что ни про что выслали в Казахстан, и она горько и честно предупредила об этом двух молодых москвичей, не желая приносить им никаких неприятностей. Но мы выбрали именно ту крышу, под которой была беда: война научила нас тому, что беда и позор – это разные вещи.

Меня никогда не кормили так вкусно, как под той греческой крышей, может быть, потому, что хозяйка готовила нам все, чему был бы счастлив ее муж, если бы он вдруг возник на пороге с азиатской пылью на сапогах после принудительной одиссеи. С тех пор я больше всего на свете люблю рыбу по-гречески – в томатном соусе, с тонко нарезанной морковью, и тушеные баклажаны с помидорами, луком: по-кавказски – аджапсандал, по-французски – рататуй.

Гречанка часто ходила вечерами на берег, садилась прямо на камни у причала в черной кружевной накидке, похожей на иней из пепла, и ждала мужа с моря, хотя азиатские пески, всосавшие его, были совсем в другой стороне, за ее спиной. Но, наверно, в генах всех гречанок со времен Пенелопы заложена память о том, что расставания с любимыми и их возвращения неразделимы с морем.

Через несколько лет один мой друг дал мне и моей любимой ключ от своей пустовавшей сухумской квартиры. Мы бросили наши чемоданы в квартире, особенно ее не разглядывая, и, взявшись за руки, как дети, побежали на берег, бросились с головой в зеленое пенящееся чудо, которое почему-то называлось Черным морем.

Это море когда-то качало и триремы аргонавтов под золотым руном так много обещавших рассветных облаков человечества, и генуэзские галеры, где африканские рабы, вылепленные из черных мускулов, лиловых губ и белков слоновой кости, иссеченные витыми плетями надсмотрщиков, наплескивали самшитовыми веслами будущий сан-луисский блюз, и турецкие фелюги с красными перцами фесок, и дубки контрабандистов, где в трюмах «коньяк, чулки, презервативы», и мятежный броненосец «Потемкин», где матросские ленточки, окунувшись в борщ с червями, превратились в гениальную киноленту, и покидающий Россию последний корабль белой армии, где Врангель в траурной черкеске так вцепился в борт, что под его ногти впились белоснежные корабельные занозы.

И мы по-дельфины счастливо отфыркивались, глотая море, как подступившую к горлу историю, и наши соленые губы находили друг друга даже под водой, где шаловливые стайки рыб щекотали нам ноги. О, что бы сегодня ни говорили о романтической безвкусице раннего Горького, но то, что он чувствовал когда-то на берегу моря, оказалось правдой. Да, море смеялось! Да, тысячами! Да, серебряных! Да, улыбок!

Но, выйдя на берег, я увидел ту же самую гречанку, сидевшую на камнях в кружевной черной накидке и все еще ожидавшую, что море вернет ей мужа. Мы подошли к ней, и она узнала меня, пригласила к себе в дом, научила мою любимую готовить аджапсандал. Гречанка не ела вместе с нами, но ей нравилось смотреть, как мы уплетаем за обе щеки, и она полуулыбалась-полуплакала, потому что я был единственным мужчиной в доме, а ее маленькие мужчины-греки еще не подросли.

На прощанье гречанка по-православному перекрестила меня и мою любимую, как будто ее несчастье благословило нас, чтобы мы были счастливы.

Я и моя любимая вернулись в еще незнакомую нам квартиру и, торопливо обтерев скопившуюся на мебели пыль, поскорей улеглись, как все на свете любящие друг друга, для кого нет больше счастья, чем остаться вдвоем. Но нас поджидало нечто.

Первым проснулся я, хотя за окном еще была магнолийная, вязкая от запахов ночь. По мне что-то ползало. Я панически включил свет и – о ужас! – увидел полчища прозрачных от голодухи клопов, коричневой чумой обсыпавших стены, постель и нас. Я в отчаянье разбудил сладко спавшую любимую, стряхивая с ее рубенсовского тела этих мини-коричнево-рубашечников, уже сыто отяжелевших от крови наследницы Ахматовой и Цветаевой, а сам забрался на стол, подогнув босые дрожащие ноги, и заплакал.

Моя любимая, однако, проявила итальянский темперамент, соединенный с татарским упорством. Она, нимало не стеснясь, разбудила среди ночи соседа по лестничной клетке – абхазского краеведа, специалиста по путешествию аргонатов за золотым руном, добыла у него керосин и, вооружившись тряпкой, начала войну с несчастными оголодавшими кровопийцами, в то время как я позорно продолжал восседать на столе, голый, сложив руки в позе брамина, молящегося во время наводнения.

Клопы были побеждены.

Какое это было прекрасное молодое время!

Мы ходили по Сухуми, как было тогда принято, в полосатых пижамах, в пластмассовых наносниках, в белых войлочных шляпах, пахнувших овечьим сыром, и блаженно пробовали на рынке землянично душистую «Изабеллу» цвета заката при хорошей погоде, которую нам щедро наливали из сиреневых шлангов в липкие граненые стаканчики, или вкушали пряное, чуть коричневатое рачинское в прохладном подвальчике, где животастый усач в кожаном фартуке с винными лиловыми пятнами клал прямо с ножа на верхнее днище бочки упругие ноздреватые ломти еще влажного сулугуни. А потом мы возвращались в нашу уже обесклопленную квартиру и любили друг друга, ласкаясь, как волна с волной, прижимаясь телами, пахнущими прибором, а разленившись от любви, опускали с третьего этажа на длинной бельевой веревке авоську с пустыми бутылками, в горлышко одной из которых была воткнута пятерка, и минуту спустя авоська, отяжеленная ледяным боржомом и ныне исчезнувшим бархатисто-красным вином «Александрюли», поднималась к нам из косматых рук продавца уличного киоска, которого звали Гоги и чья мечта была купить «мерседес» и на нем съездить на гипотетическую прародину грузин – в Басконию. И мы передавали вино друг другу губами и всплывали в глаза друг другу и уже не выплывали оттуда. О боже, как мы любили, даже не представляя, что возможно не любить.

Но когда у нее мог быть ребенок от меня, я не захотел этого, потому что сам недалеко ушел от ребенка и тогда еще не понимал, что, если мужчина заставляет любящую женщину убивать их общее дитя в ее чреве, он начинает убивать ее любовь к себе.

Я боялся того, что живой – пищащий, писающий – ребенок отнимет у меня так называемую свободу, которой я тогда по-дурацки дорожил. Но убитый по моему настоянию ребенок отнял у меня большее – любовь его матери.

Бог наказал меня потерей любви за то, что в мою душу вселилась почему-то считавшаяся свободой рабская зависимость от тела, делающая нас любопытствующими ничтожествами, туристами секса. Любовь не прощает любопытства, если оно ставит себя выше любви.

Когда я первый раз пришел домой поздно ночью, моя любимая не спала и ждала меня, читая в кресле своего обожаемого Марселя Пруста, одетая так красиво, как будто мы куда-то собирались в гости.

На столе в нашей крошечной комнатухе стояли две тарелки, накрытые другими тарелками, – наш ужин. Она радостно захлопнула книгу, бросилась ко мне и не сказала ни

слова – только ласково потерлась о мое плечо, укоряюще глядя на меня еще любящими и еще прощающими глазами.

Когда я второй раз пришел поздно, она тоже читала что-то очень интеллектуальное, но уже лежала в халате под одеялом, ошетилившись накрученными бигудями под тюрбаном из полотенца. На столе стояла только одна оставленная тарелка.

Когда я в третий раз пришел поздно, она уже спала и никакой тарелки на столе не было.

Когда я в четвертый раз возвратился поздно, наши разные такси подъехали к подъезду одновременно, и она, рассчитываясь с шофером, даже попросила, чтобы я разменял ей десятку.

И наконец, когда я в пятый раз возвратился поздно, ее совсем не было и она появилась лишь под утро, пахнувшая вином и чужими сигаретами, потому что тогда она еще не курила.

А потом, пытаясь все спасти, пряча от меня глаза, она попросилась со мной в Сибирь, но я не понял, насколько все далеко зашло, решил, что она будет мне в тягость, и опять отдал предпочтение свободе, а не любви, думая, что любовь подождет, никуда не денется. А любовь – делается, да вот куда – не знаю.

Если женщина перестает любить, у нее появляются новые привычки. Эти новые привычки – первый признак того, что у женщины кто-то есть.

Она никогда раньше не курила, не пила ни крепких напитков, ни кофе. Единственное, что она обожала, – это пиво и пирожные. Я неблагородно боролся с этими безобидными грехами, требуя от нее похудения. Она прятала пакеты с пирожными в свои «хоронушки» – на кухонный шкаф или на книжный стеллаж – за томики Марселя Пруста в издании «Academia», при чтении которого я всегда испытывал комплекс интеллектуальной неполноценности, ибо меня непоправимо клонило ко сну.

Но когда через пару месяцев я вернулся из Сибири, меня встретила уже совершенно другая, незнакомая мне женщина. Она не похудела – она высохла, как будто выгорела изнутри. Школьная коса сменилась медно-проволочной короткой прической. Она была в туфлях на высоченных каблуках, на которых раньше не умела ходить. На столе стояли коньяк, кофе, которого ни я, ни она никогда не пили, в наманикюренных серебряной крошкой пальцах дымилась длинная сигарета, и у нее появилась совершенно новая манера – смотреть мимо собеседника и говорить, не ожидая и не слушая ответа...

Мы не поссорились. Наша любовь не умерла – она перестала быть. Мы разошлись, и я переселился в комнатуху над Елисеевским магазином – настолько крошечную, что входящим женщинам нельзя было избежать тахты, и через пару месяцев я чуть не рехнулся от карусели, которую сам себе устроил. Теперь уже я сделал отчаянную попытку спасти нашу любовь – поехал к ней ночью без предупреждения, нажал на дверной звонок серебряной пробкой шампанского. В другой руке я держал за зеленый хвостик морковку хрущевской оттепели – кубинский ананас.

– Кто там? – раздался за дверью самый красивый в мире голос.

– Это я, – еле вытолкнули мои губы. – Я тебе ананас привез.

Ответом было молчание. Наконец раздалось неуверенно фальшивое:

– Ты пьян. Я тебе не открою...

Все было кончено. Я опоздал.

Потом я долго мучился, думая, что из-за моей юной глупой жестокости она потеряла возможность иметь детей – так мне и ей сказали врачи. Но через несколько лет, узнав, что она все-таки родила дочь, я возблагодарил Бога за то, что он пожалел меня и освободил от лежавшего на мне проклятия.

Но до сих пор, когда я вижу ее вблизи или издали или просто слышу ее голос, мне хочется плакать...

* * *

Дочь моей первой любимой и мой сын от второй любимой дружат, а ведь он появился не менее мучительно и долгожданно, чем эта девочка, ибо его мать была вся обожжена облучением, искромсана хирургами и ей говорили не только то, что у нее не может быть детей, но и что она сама долго не проживет.

Однако она выжила в клешнях НКВД, попав еще девятилетней девчонкой в детдом для детей врагов народа, когда у нее арестовали отца, мать, дедушку, бабушку, и выжила в клешнях проклятой болезни, победив болезнь тем, что перестала о ней думать, всю себя вложив в наконец-то обретенного сына.

До того как я первый раз поцеловал ее, я знал ее десять лет, был другом ее мужа, часто бывал в их доме и никогда не позволял себе даже подумать о том, что между нами может что-то случиться. Это случилось только тогда, когда и ее семейная жизнь, и моя распались, и два несчастья, неожиданно для нас самих, прижались друг к другу, надеясь, что станут счастьем.

С женой друга это вообще может происходить лишь тогда, когда потом она становится твоей женой. Но лучше, чтобы это вообще не происходило.

Рассказывают, что, когда Пастернак увел жену у своего друга – пианиста Генриха Нейгауза, тот стукнул его по голове клавиром оперы Мейербера «Гугеноты», а потом бросился к нему в ужасе – не повредил ли он гениальную голову. Тем не менее Пастернаку досталось поделом.

Я ни разу не пожалел о том, что женился во второй раз, а вот о том, что нанес рану другу, жалел и до сих пор жалею.

Моя вторая жена стихов не писала, но она принадлежала к немногому числу тех, для кого их стоит писать.

У нее были серые гранитные глаза с рыжиной вокруг зрачков и сросшиеся, словно схватившиеся друг с другом в борьбе, черные брови Аксины, родившейся еврейкой.

Она никогда ничего не боялась.

Однажды мы ехали с ней на нашем потрепанном «москвиче» и я что-то нарушил. Пожилой майор милиции, проверяя мои права, изучающе скользнул глазами по моей жене, и вдруг глаза у него заострились, забрезжили неслужебным интересом, и он попросил меня выйти. Нередко они так себя ведут, чтобы получить взятку. На сей раз дело было иного рода.

– Кто вам эта женщина?

– Жена.

– Я ее узнал, – сказал майор. – Я когда-то работал в паспортном столе и, хоть тыщи людей сквозь меня проходили, ее запомнил. Ее девичья фамилия – Сокол. У нее по метрикам отец русский, а мама еврейка. Оба репрессированы, а она сама была детдомовская. Паспорт ей для ремеслухи был нужен. Жалко мне ее стало. Затравленная, как зверек, чуть что – и укусит. Я ей говорю: «Ну что, русской тебя записать?» А она мне этак резко: «Это зачем?» Я ей по-хорошему: «Ну, может, полегче будет». А у нее слезы из глаз чуть не брызнули – только не жалкие, а злые, раскаленные. «А мне, – говорит, – не надо полегче!» И как встанет, да как закричит на весь паспортный стол: «Пиши – еврейка!» Как же такую не запомнить! Смелая у вас жена...

Да, она была смелая. Когда тетка вытащила ее из детдома для детей врагов народа, она превратилась из Золушки-замарашки в красавицу, и за ней и ее подругой – тоже из детей врагов народа, такого же возраста и тоже очень красивой, – стал ухаживать тот самый литературный карлик. Однажды, разыгрывая самопожертвование, он сделал предложение сразу двум подругам, чтобы они сами выбрали, кто из них выйдет за него замуж. В противном

случае, как объяснил он с ласковой улыбкой гиены в твиде, ему трудно будет спасти их от ареста, который, как стало ему известно, предreshен.

Одна из подруг, спасаясь от шантажа, а возможно, и действительно от тюрьмы, немедленно вышла замуж за толстенького уютного поэта.

Моя будущая жена, придя в коктейль-холл, еще не видя лица, увидела сильный надежный затылок мужчины – своего будущего первого мужа, сидевшего на высоком стуле за стойкой бара, и сразу решила положиться на этот затылок. Она не ошиблась.

Пришедший услышать решение двух подруг литературный карлик был ошеломлен – они обе оказались замужем за известными поэтами, один из которых был к тому же лауреатом Сталинской премии.

Когда объявили о смерти Сталина, моя будущая жена заявила на Красную площадь и, на радостях пьяная, начала выкаблучивать «цыганочку» прямо перед Мавзолеем, вырываясь из рук своего первого мужа, который еле спас ее от «народного гнева» тех, кто в этот день плакал.

На поминках Луговского, когда все уже расселись, запоздало вошел с кладбищенской свежей глиной на штиблетах и с неизменным портфелем, раздувшимся якобы от важных бумаг, всевластный директор издательства, где он издавал писателей, которых еще не успел посадить.

Писатели и писательские вдовы – все, кто так или иначе зависел от этого деловито-мрачного изувера, прячущего палаческие глаза под респектабельными седыми бровями, – стали уступать свои стулья, засуетились, замельтешили, как бы подостойнее его устроить, а он демократически отнекивался, прижимая свой портфель, в котором, может быть, были новые доносы, к своему признательному сердцу. И вдруг раздался ее голос и хриплый ведьмин хохот:

– Ничего, те, что сажали, пусть постоят!

Ее боялись все – в том числе и я.

Она могла сказать все, что ей угодно и кому угодно.

Когда однажды, не предупредив ее, я привел поздно ночью секретаря одного из московских райкомов, который не побоялся организовать мой вечер поэзии, хотя я был тогда в крупной опале, то, встретив его на пороге и понятия не имея, кто это такой, она с безошибочной жестокостью, прямо ему в лицо, определила на глаз:

– А это еще что за партийная морда?!

Когда в 1961 году в Киеве я впервые прочитал только что написанный «Бабий Яр», ее сразу после моего концерта увезли на «скорой помощи» из-за невыносимой боли внизу живота, как будто она только что мучительно родила это стихотворение. Она была почти без сознания. У киевской еврейки-врача, которая только что была на моем выступлении, еще слезы не высохли после слушания «Бабьего Яра», но, ото всей души готовая сделать все для спасения моей жены, после осмотра она непрофессионально разрыдалась и отказалась резать неожиданно огромную опухоль.

– Простите, но я не могу после вашего «Бабьего Яра» зарезать вашу жену, не могу, – говорила сквозь слезы врач.

Я улетел с женой этой же ночью в Москву, и то, что выглядело как гнойная опухоль, к счастью, оказалось кистой.

Но, только-только пришедшая в себя, белая как мел после операции, моя жена еле шевелящимися губами немедленно выругала меня за это новое стихотворение, заклинала, чтобы я его не печатал.

– Это настолько больно, что об этом вообще нельзя писать, – сказала она.

Такой у нее был характер.

Забыв о том, что, будучи со мной на Кубе, она сама – правда, ненадолго – попала под обаяние еще совсем молодого и тогда еще способного обаять других Фиделя, накачивающего толпу и самого себя четырехчасовыми речами до истерического «орального» оргазма: «Патриа о муэрте! Венсеремос!» – она не только наедине, но и при других всячески издевалась над моими романтическими стихами о кубинской революции, в которую я тогда был влюблен. Она хотела, чтобы меня не печатали, а иногда мне даже казалось, она хотела, чтобы меня арестовали, а она могла бы гордиться мной и носить мне передачи.

– Чего ты от меня хочешь? – однажды спросил я ее. – Чтобы я облился бензином и устроил самосожжение у дверей Мавзолея?

– Ну что ж, может быть, это самое честное, что можно сейчас сделать, – не раздумывая ответила она.

Но когда наши танки, входящие в Прагу, словно захрустели гусеницами по моему позвоночнику и, потеряв от стыда и позора инстинкт самосохранения, я написал телеграмму Брежневу с протестом против советских танков, моя жена впервые на моих глазах испугалась, но не за себя, а за меня. Она не испугалась за себя, когда вязала свитера и собирала деньги и одежду для сидевших в послесталинском Гулаге и Психлаге диссидентов. Она не испугалась за себя и тогда, когда оказалась единственным человеком, кому Сахаров, сосланный в Горький, доверил ключи от московской квартиры, в подъезде которой постоянно дежурили не меньше двух агентов КГБ.

Но это случилось потом, а тогда, в 1968 году, мы сидели с женой ночью в Переделкине, бросая на случай обыска и моего ареста крамольные книжки в костер, и она повернула ко мне лицо с отблесками умирающих страниц на жестких скулах, и я увидел, что ее глаза полны особых слез – слез материнского страха за меня.

– Лучше бы ты писал стихи о Кубе... – со вздохом сказала она.

Однако вскоре, увидев, что меня все-таки не арестовывают, она снова начала меня бесконечно шпынять за недостаточную, по ее мнению, бескомпромиссность и ставить мне в пример писателя, кому первому удалось напечатать правду о сталинских лагерях.

Но вдруг Великий Лагерник мне позвонил сам:

– Слышал, вы написали обо мне стихотворение. Нельзя ли его получить? Я, вообще, хотел бы к вам зайти, поговорить.

Жена, узнав, что к нам придет ее идол, была потрясена тем, что он снизошел до визита к такому несерьезному писателю, как ее муж.

– У нас водка есть? – спросил я на всякий случай.

– Какая еще водка? – с оскорбленной гордостью вскинула она голову. – Неужели ты думаешь, что он похож на тебя и на твоих собутыльников?

День был зимний, люто холодный, и наш гость вошел с поблескивающими морозинками в бороде, потирая замерзшие руки.

– Покормите? – с ходу спросил он. – Водочки тяпнуть у вас не найдется? А то я продрог до костей...

Помимо того что моя вторая жена была непримиримым домашним политиком, она была лингвистической пуристкой, и соединение плебейского интереса к водке с непредставимым для живого классика любимым глаголом русских алкоголиков «тяпнуть» ее шокировало. Идол разваливался у нее на глазах.

Она оскорбленно выплыла за «водочкой», а потом лишь некоторое время посидела с нами за столом, стараясь не глядеть на своего идола. Он был слишком нормален для гения, слишком шутлив для трагического писателя. В ее понимании гений должен был быть ежеминутно гениальным, а трагический писатель – ежеминутно трагическим.

Когда я прочел гостю посвященное ему стихотворение, она сразу сказала:

– Плохие стихи. Если бы я умела писать, я бы написала лучше.

А когда гость вытащил из своего облуленного портфеля мою самиздатскую, тогда запрещенную автобиографию, к моему удивлению тщательно законспектированную им, и стал делать свои замечания, она окончательно была добита преступной тратой драгоценного времени великого борца против коммунизма на такие мелочи и ушла в кухню.

В то время у писателей выбор был небольшой – либо уехать и печатать все, что хочешь, на Западе, став непечатаемым на родине, либо остаться и пробиваться сквозь цензуру, как сквозь колючую проволоку, оставляя на ней клочья собственной кожи. Любой выбор был трагичен.

Как третий выход существовало внутреннее диссидентство, но в нем были не только такие прекрасные чистые люди, как Сахаров или Копелев, но и амбициозные, злобно нетерпимые сектанты, высокомерные снобы, шигалевы, петеньки верховенские, прыгнувшие прямо со страниц «Бесов» Достоевского, и, наконец, литературные посредственности, для которых политика была единственной возможностью прославиться.

Как-то ко мне пришел юный поэт, изнемогающий от непризнанности, с закомплексованными глазами Муция Сцеволы, готового сжечь свою левую руку, лишь бы в правой гордо сжимать «Нью-Йорк таймс» с упоминанием собственной фамилии.

– Знаете, что у вас общее с Сурковым? – спросил я его про пулеметчика Гражданской войны, секретаря Союза писателей, сладострастно разоблачавшего Пастернака.

– Надеюсь, что ничего, – ошетинился юный кандидат в муции сцеволы, продолжая обугливать руку на невидимом огне.

– Сурков пишет: «Да здравствует советская власть!», вы пишете: «Долой советскую власть!», но оба – одинаковыми художественными средствами, – честно ответил я.

– Ничего, вы еще услышите обо мне, – гордо ответил юный антисталинист, даже не подозревая, что примерно так ответил ненавидимый им юный Сталин грузинскому поэту Чавчавадзе, который не переоценил его поэтических способностей и недооценил политические.

Моя жена терпеть не могла никаких политических стихов – ни официальных, ни диссидентских, но ее ненависть к системе была настолько всепоглощающей, что в своей неприимиримости она была диссидентней всех диссидентов вместе. Она была принципиальна до невыносимости.

В таком же духе она воспитала нашего сына.

За это она сама бывала наказанной. Ее беспрестанно вызывали в школу. В двенадцать лет он задал несчастной учительнице такой вопрос:

– Если на самом деле социализм лучше капитализма, как вы нам говорите, то почему отсюда все бегут туда, а к нам не бегут даже негры?

Но его принципиальность превращалась и в жестокость. Однажды, купив новое платье, она допытывалась у него, идет ли оно ей. Он долго отмалчивался, как бирюк, а потом пробурчал:

– Оно ужасно... Тем более при твоём возрасте.

Но ведь жестокой в своем непрерывном правдолюбии была и его мать.

Впрочем, дурак я был, считая ее нападки действительно политическими. Она была безукоризненной как жена, как хозяйка, она сломала свою семейную жизнь ради меня, и я был ее последней картой, на которую она поставила все, а я все еще не налюбопытничался, не нагулялся, и сплетни истерзали ее, искололи, загнали ее в угол, и вот оттуда-то она и рычала мне что-то политическое, потому что гордость не позволяла ей показать своей женской оскорбленности.

Не верьте женщинам, когда они слишком нападают на вас политически, и задумайтесь, не обижены ли они по-женски. Но оскорблений в ответ на оскорбленность накопилось слишком много. Быть вместе мы уже не могли.

Я еще любил ее, но уже старался влюбиться в кого-нибудь – именно старался. Стараясь влюбиться не от хорошей жизни. Влюбиться мне удалось. Я ушел из дома.

Но поперек моей дороги предупредительно легла кровь.

Молодой актрисе, исполнявшей твист босиком в финале моего поэтического спектакля, неизвестные доброжелатели бросили горсть гвоздей, и она танцевала премьеру с окровавленными ступнями.

Моя жена разрежала себе вены, и ее еле спасли.

Я вернулся к ней, но вскоре очертя голову бросился в долгую, запутанную латиноамериканскую поездку. По пути я остановился в крошечном копенгагенском отеле, несколько поднапился на банкете после моего концерта и затем, оставшись после всех комплиментов и автографов один-одинешенек, заказал к себе в номер бутылку шампанского.

Когда респектабельный господин со слегка загнутым носом, похожий на стерлядь в смокинге, исполняющий ночью обязанности и администратора, и официанта, принес мне поднос, где в серебряном ведерке нежилось русалочье изумрудное тело «Вдовы Клико», подернутое ледяной запотелостью, он поставил на стол два бокала, словно двух стеклянных балерин, каждая из которых стоит на одной ножке, и удивленно обвел комнату, ища глазами женщину. Но ее не было.

– Как? Вы один, сэр? – сожалеюще удивился он и с вкрадчивой сочувственностью предложил: – Это преступление – пить шампанское одному. У нас есть некоторые клиентки, живущие по соседству. Не беспокойтесь, это не проститутки. Исключительно семейные женщины. Они только немножко подрабатывают на булавки. Им мы гарантируем тайну, а нашим клиентам – здоровье. Конечно, дороговато – сто долларов в час, но зато вы экономите на медицине.

«Семейная женщина» – закованная, как в панцирь, в аромат «Мицуко», в норковом макси, с лиловой крупной слезой кабошона-сапфира на кольце, с хорошо организованным белобрысеньким кучерявым беспорядком на головке – пришла ко мне с такой же, как она сама, белобрысенькой кучерявой болонкой на поводке. По словам этой хранительницы очага, ей удалось удрать от мужа лишь ненадолго – под предлогом прогулять собачку. «Семейная женщина» очень спешила, к шампанскому даже не прикоснулась и, привязав поводок болонки к ножке монументального алькова с балдахином, деловито разделась и начала по-стахановски выполнять свою работу по обеспечению клиента удовольствием.

Тело ее бурно двигалось подо мной, как включенная, но холодная машина наслаждений. У нее были совершенно равнодушные, обособленные глаза, которые, как мне показалось, разглядывали разводы на потолке, высматривая в них чьи-нибудь профили.

Какая унижительная разница была между ней и теми женщинами, которые мучились из-за меня, мучили меня самого, но все-таки любили. Я дал себе тогда слово, что больше никогда нигде не прикоснусь ни к одной проститутке, и свое слово сдержал.

Во время моей долгой поездки из меня постепенно выходила влюбленность и внутри восстанавливалась любовь. Разлука сблизилась со мной, но мое возвращение снова нас разлучило. В ней опять начали воскресать старые обиды. Она была прекрасной женщиной, но не умела ни прощать, ни забывать.

Когда нашему сыну было года два, мы гуляли с ним вечером по переделкинскому, залитому луной снегу, который крупно похрустывал под моими лыжными ботинками и лишь чуть-чуть отзывался легоньким скрипом на его крохотные валеночки. Играя с ребенком, я спрятался за сугроб около чьих-то ворот, а он, подумав, что я его бросил навсегда, проскочил мимо сугроба со смертельно испуганным личиком с отчаянным криком «Папа!», так что у меня чуть не разорвалось сердце от жалости и от стыда за мою неумную шутку. Но он как будто предчувствовал, что я когда-нибудь действительно оставлю его. Так оно и случилось...

* * *

Моя будущая третья жена была не виновата в моем разводе – он был неминуем.

Мы познакомились с ней довольно банально – она сидела с подругой за соседним столом в грузинском ресторане «Арагви» и узнавательно смотрела на меня фиалковыми глазами с испугом и любопытством. У нее был коротенький вздернутый носик и лохмато-золотая голова львенка. Сквозь грузинскую музыку маленького оркестрика, льющуюся с внутреннего балкона, как журчащий горный водопад, я краем уха услышал, что они с подругой говорят по-английски.

– Вы из какого штата? – спросил я ее, будучи полностью уверенным в том, что она американка.

– Я не американка, – засмеялась она. – I am a grandmother³ всех американок – англичанка.

Это был ее первый день в Советском Союзе.

Она бежала из Англии в отчаянье от измучившей ее любви к человеку, который писал о шахматах и для кого она была только деревянной фигуркой в его пальцах, холодно калькулирующих в воздухе, прежде чем сделать следующий ход.

Она приехала как туристка, и ей удалось устроиться на работу, что было невероятно по тогдашним временам. Но перед ее фиалковыми глазами и обезоруживающе вздернутым носиком не устояли даже кагэбэшные кадровики издательства «Прогресс», подписавшие с ней контракт как с переводчицей русской литературы. Однако она напрасно ожидала, что ей дадут переводить Толстого или Чехова. Чаще всего ей всучивали так называемую секретарскую литературу – романы, написанные секретарями Союза писателей во время, свободное от заседаний.

Она корчилась от смеха, когда ей давали переводить такое: «„Иди ко мне, родненький. Как ты измучился, отдавая все партии и народу“, – голосом, внезапно охрипшим от желания, перехватившего ей горло, сказала председательница колхоза Анфиса Харитоновна, до хруста сжав неожиданно оробевшего секретаря обкома в своих духмяных крестьянских объятиях, и они сами не заметили, как оказались на ковровой дорожке его кабинета, на которой еще виднелись старые отпечатки сапог хлеборобов – тех, на ком стояла, стоит и стоять будет русская земля».

Я никогда не встречал ни одного другого иностранца, который бы любил Россию не по-иностранному, как она. Хотя она говорила с акцентом, ее русский язык быстро стал гораздо сочнее, переливчатей, чем язык многих урожденных русских.

Она восхищала меня великодушной неразборчивостью своих дружб: с хитроглазыми татарчатами – детьми сокольнического дворника, ненасытно приобщавшимися из ее заграничных рук к мировой цивилизации через обожаемый ими чуингам; с длинноволосыми, мрачно-романтическими истопниками, читающими в подлиннике «Les fleurs du mal» Бодлера при отблесках адского пламени, страдальчески стонущего в советских ржавых котлах; со сторожами общепитовских столовок, превращаемых по ночам в полудиссидентские ночные клубы, где потрясатели основ под свои антигосударственные речи черпали государственный клокающий суп из гулливеровской кастрюли таким же гулливеровским половником и запивали дымящиеся, кажущиеся мамонтовыми кости не какой-нибудь «табуретовой», а купленным в «Березке» на валюту, нелегально полученную из тамиздата за мужественный нонконформизм, настоящим «Бифицером», на чьей наклейке с английской

³ Я прабабушка (англ.).

дистанцированной вежливостью улыбался углами губ этим малопонятным ему русским людям дворецкий, с жезлом, в красной ливрее и в белоснежном ярме плоеного воротника.

Иногда я приходил в ярость, когда многие пользовались беззащитной щедростью отзывчивой на любую просьбу англичанки, нещадно переэксплуатируя ее, как золотую рыбку с иностранным акцентом.

Уезжая в отпуск в Англию, она возвращалась нагруженная, как верблюд «скорой помощи», лекарствами, джинсами, кедами, кофточками, электробатарейками, теннисными мячами, тостерами. Однако, когда в помощи нуждалась она сама, многие ее чуингамно-шмоточные друзья неизвестно куда исчезали.

Получив свою первую каморку в Сокольниках, она героически начала выбрасывать завалы рухляди, оставленные прежними хозяевами, и однажды застряла в раскрытых дверях лифта вместе с продраным дряхлым диваном, ошетилившимся всеми пружинами. Соплатить с диваном и дотащить его до свалки ей помог ее сосед по лестничной клетке – слесарь по кличке Славуня, с такой длинной, стабилизировавшейся бахромой на брюках, что они казались сшитыми из обесцветившихся знамен с некогда золотыми кистями. Сделав свое дело, Славуня снял кепор и, помявшись, промычал с некоторой застенчивостью:

– Магарыч с тебя, соседка...

Англичанка не поняла.

– Извините, что означает это слово – «Макарыч»? Это чье-то отчество?

– Да нет, – это то, что можно деньгами, а можно и бутылкой.

Англичанка сообразила, принесла ему недопитую бутылку виски, вылила все, что осталось, в стакан. Славуня судорожно выпил, но не уходил, а все мялся, мялся.

– А пятерку ты мне еще не добавишь – на пивко? Все же мы соседи как-никак. Глядишь, я тебе еще пригожусь.

Это ее потрясло. Она не могла понять, как может мужчина, да еще и сосед, брать с женщины «деньгами и бутылкой».

Первое время она недоумевала, видя на улицах Москвы столько людей, волокущих в лопающихся авоськах апельсины, которые иногда выскакивали в прорывающиеся ячейки и, расшалившись, прыгали, как оранжевые шаровые молнии, под колесами автомобилей.

– Почему у вас, в Советский Союз, такая апельсиномания? Зачем покупать so many oranges?⁴

Но жизнь быстро преподавала ей мудрость оптовых закупок в условиях социализма, победившего самого себя.

Однажды она угостила меня ананасом. Самым настоящим – не консервированным. В твердом, почти черепашьем панцире, прячущем внутри золотое нежное тело, всеми волокнами изнемогающее от сладости собственного сока.

Первый в моей жизни ананас мне принес в подарок отец еще перед войной, и никто в нашей семье не знал, как его надо есть. Ананас был мексиканцем, и в его запахе не было ничего советского. У ананаса был дурманящий аромат отобранного у нас всего остального мира. Благодаря неожиданно доброму капризу государственной торговли, ананасы появились в московских магазинах впервые за все годы после Октябрьской революции именно во время повальных арестов конца тридцатых годов, словно для того, чтобы хоть слегка подсластить жизнь и создать витринную видимость изолированности от мировой цивилизации. Однако весьма скоро эти, слишком возбуждающие воображение простых советских людей, фрукты исчезли по чьему-то, возможно сугубо идеологическому, решению так же внезапно, как появились.

⁴ ...так много апельсинов? (англ.)

Второй настоящий ананас я достал лишь во время хрущевской недолгой оттепели, когда в Москве впервые выставили Пикассо, пригласили Ива Монтана, джаз Бенни Гудмана и стали продавать итальянские мокасины, гнущиеся в руках, как цирковые гуттаперчевые мальчишки без костей. Именно этот ананас я и держал в руках, когда приехал к моей первой жене мириться, но и он мне не помог.

И наконец, мой третий ананас за всю мою советскую жизнь предстал передо мной в Сокольниках, в крохотной кухоньке англичанки.

– Откуда это? – ошеломленно выдавил я, не веря собственным глазам.

– From the local⁵ «Фрукты и овощи», – с чувством превосходства улыбнулась она. – Discover your own country⁶.

– Что же ты купила только один? – не выдержал я.

– У меня нет советский привычка покупать весь shop⁷, – был ее гордый ответ.

Однако за все свои следующие одиннадцать лет в Советском Союзе она ни разу так и не увидела ни в одном local «Фрукты – овощи» второго ананаса и, быстро превратившись в матерую советскую доставальщицу для семьи, мужественно таскала, даже беременная, огромные сумки. Когда она приезжала в отпуск к родителям в Англию, они тревожно перешептывались по поводу того, как ненормально много их дочь покупает продуктов – ведь то же самое здесь можно было покупать маленькими свежими порциями каждый день. Но она с чувством веселого превосходства шутила, что только советские люди получают истинную радость от какой-нибудь добытой в муках мученических шмотки или вкуснятинки.

Однажды я пришел на свидание с ней у метро «Сокольники» чуть раньше и увидел ее, не предполагавшую, что я ее вижу. Сама разругавшаяся от сорокаградусного мороза, как пышка, она обжиралась дымящимися горячими пирожками, которые один за другим доставала ей на вилке из своего голубого сундучка продавщица, большущая, словно пожарная каланча в белом фартуке, заляпанном жиром.

Эта англичанка уничтожала пирожки с таким русским удовольствием, и сквозь дыру одной из штанин ее продранных джинсов выглядывал красный от холода кусочек ее молодой, веснушчатой, обсыпанной золотыми волосками ноги, не побоявшейся ступить на русскую, полную опасных ям землю, где так легко оступиться.

Она любила тихую могилу Пастернака, где всегда были свежие цветы – или просто положенные на маленький бугорок, или поставленные в стеклянные банки с водой и в бутылки из-под кефира рядом с веточками рябины, а иногда и одиноким яблоком.

Она любила песни Окуджавы, негромкие и призрачные, как ночные троллейбусы, шелестящие по мокрому асфальту с качающимися в лужах водорослями огней; прозу Юрия Казакова, похожую на туман над северными болотами, внутри которых светятся гнилушки; нежных и устрашающих уродов на холстах Олега Целкова, задумчиво жующих цветы и сентиментально погружающих ножи в розовое невинное тело арбуза. Театр на Таганке, где сам Володя Высоцкий в матросском бушлате и тельняшке накалывал на штык винтовки театральные билеты, новеллу из фильма «Андрей Рублев» о подростке, который во времена татаро-монгольского нашествия отлил во чреве земли русской великий колокол, а потом горько рыдал на обочине – от громадности содеянного и от детской обиды, позабытый ликующей толпой.

Она любила моего хромоногого подслеповатого дворняжку Бима, которого когда-то тащила на свет божий клещами из его матери; нашего «семейного фотографа» – кибернетика Израиля Борисовича, бывшего десантника, всегда по-детски воодушевленного, но одновре-

⁵ Из местного... (англ.)

⁶ Открывай для себя собственную страну (англ.).

⁷ Магазин (англ.).

менно всегда боящегося или чего-то, или просто погромов; искусствоведа Лешу Гастева, искалеченного за пятнадцать лет лагерями, всю жизнь писавшего о Микеланджело, хотя его ни разу так и не пустили в Италию.

Она любила черный хлеб, моченые антоновские яблоки, узбекский плов, грузинское вино «Оджалеси», байкальского омуля с душком, грибную икру моей мамы, мою маму и меня как просто меня.

В России она любила даже очереди, потому что очень часто знакомилась в них с хорошими людьми, приглашала их к нам домой и делала для них в духовке, чтобы угостить их чем-то английским, свой любимый «shepherd's pie»⁸.

В мою первую жену влюблялись. Мою вторую жену уважали. Мою третью жену – обожали.

Правда, не все.

Один писатель, помешавшийся на шпионских историях, ходивший по ресторанам исключительно в пятнистолягушачьей форме афганских красных беретов, как-то нагло ей сказал в моем присутствии:

– Девочка, только не надо мне рассказывать сказки о том, что вы приехали в Россию бедной Золушкой и нашли мужа, как хрустальный башмачок. В Англии, как и у нас, никогда не считалось зазорным выполнять любые задания родины. Вспомним хотя бы Сомерсета Моэма, Грэма Грина...

Я отозвал его в коридор и сказал, что, если он сейчас же не прекратит свои пьяные разглагольствования на эту тему, я набью ему морду.

– Старичок, ты же ничего не понимаешь в англичанах – она это восприняла как комплимент... Мы же с ней профессионалы, – примирительно пожал он плечами.

Секретарь ЦК по идеологии, распекая меня за мой репортаж в «Лайфе» о Монголии, чем были возмущены, по его словам, «наши монгольские друзья», вдруг сварливо добавил:

– И с вашей женитьбой на англичанке вы тоже учудили. Надо же было до такого додуматься! Почему вы все время нарочито противопоставляете себя обществу, гусей дразните?!

Я встал и сказал:

– Это мать моих двух детей. Если вы немедленно не извинитесь, я сейчас же уйду.

Он с торопливой гибкостью обнял меня за плечи, усадил:

– Ну хорошо... Снимаю личный вопрос... Но гусей-то дразнить все-таки не надо...

Ни монгольских, ни своих...

Гуси действительно пощипывали.

На выступлениях мне приходили записки такого рода: «Неужели в России мало достойных женщин, если вы выписали себе жену по объявлению из Англии? Этим вы оскорбили всех нас, ваших соотечественниц».

Никому из них и в голову не приходило, что я женился не на англичанке, а просто на женщине, которую люблю. Наверно, еще несколько поколений в России должно смениться, прежде чем люди начнут понимать, что те, кто любит, – всегда одной национальности. Но моя англичанка жила по мудрому правилу: забыть про тот мир, где тебя не любят, и жить только в том мире, где любишь ты и где любят тебя.

Ее обожали грузины и абхазы на берегу Черного моря в Гульрипше, где я строил свой единственный в жизни собственный дом из розового т кварчельского туфа, где своими руками – и она, и я – под руководством моего соседа Бичико нежно вкапывали в землю хрупкие мандариновые и апельсиновые саженцы, где она, смахивая бриллиантики пота со своего вздернутого носика брезентовой рабочей рукавицей, которую насквозь протерла садовая лопата, шепнула, обдав меня фиалковым всплеском своих лукавых глаз:

⁸ «Пастуший пирог» – картофельная запеканка с мясным фаршем и луком (англ.).

– It seems to me, английские розы очень подойдут к фейхоа of Gulripsh⁹.

А когда я уехал в плавание на Колыму, поручив ей доставать мебель для гульрипшского дома, то где-то в Синегорье, за десять тысяч километров, меня нашла ее почти отчаявшаяся, но веселая телеграмма: «Борюсь с мебелью. Люблю».

В Сванетии она попросила коня, легко вбросила свое тело в седло, полетела на нем через расщелины гор, как на Мерани, с черным хвостом, дымящимся на ветру, словно черный факел. Ошалевшие от удивления сваны не могли ее догнать и, по-джентльменски признавая первенство этой неповторимой англичанки, восторженно бросали в воздух свои шерстяные, с черными кисточками шапки, из которых, как вскоре выяснилось, прекрасно можно пить – и даже шампанское. Ей даже подарили гору и сказали, что она ее может забрать, когда захочет.

Мои кореша по плаванью на Колыме вовсе без моей подсказки называли нашу моторную лодку ее девичьим именем «Jan Butler».

На станции Зима она была первой иностранкой после союзников Колчака и бесстрашно водила по болотам грузовик моего дяди, обмотанный цепями, а на Вологодчине – бессмысленно, но устрашающе полыхавшую вертушкой милицейскую «канарейку», внутри которой на заднем сиденье дрых вусмерть пьяный начальник районной ГАИ.

В северной деревянной деревушке древний старик в ее честь вытащил из сундука пронафталиненный костюм, сшитый на его свадьбу еще до Первой мировой войны, предложил потянуть сукно, да посильнее. Сукно выдержало.

– Аглицкое! – сказал старик с уважением, распространявшимся на мою жену.

Однажды мы были на московских гитарных посиделках в бывшем купеческом особняке, давным-давно превращенном в коммуналку.

– Хочу вам сделать приятное, очаровательная леди из страны Джеффри Чосера и Джека-потрошителя, – просипел старожил этого дома, автор эстрадных юморесок, бывший лагерник, дребезжа скрежещущим голосом, ибо в его горло после опухоловой операции была вставлена трубка. – Но для этого нам с вами надо посетить, пардон, коммунальный туалет, и к тому же, пардон, коллективно.

Я не удержался и присоединился к этой экскурсии.

Юморист-лагерник открыл дверь, исписанную с внешней стороны десятками телефонов, а с другой стороны – анальным фольклором, и с театральной величавостью указал суковатой тростью с набалдашником в виде головы Льва Толстого, вырезанной лагерными умельцами в Магадане, на середину уборной.

– Итак, что вы видите перед собой, очаровательная леди из страны Оскара Уайльда и Обри Бердслея?

– We call it «watercloset»¹⁰. В Советский Союз это называется унитаз. Цитирую ваш поэт Николай Глазков. «Мне говорят, что окна ТАСС моих стихов полезнее. Полезен также унитаз, но это не поэзия», – невозмутимо сдала экзамен англичанка.

– Bravo, очаровательная леди из страны Исаака Ньютона и Вивьен Ли. А как вы думаете – сколько лет этому, пардон, унитазу?

– Enough...¹¹ – задумалась англичанка.

– Соболаговолите чуть-чуть наклонить вашу прелестную золотую головку ближе к сему алтарю гигиены, желательно слегка зажав пальчиками ваш неповторимо вздернутый носик, дабы избежать ароматического шока. Наклонили головку? Зажали носик? Прелестно...

⁹ Мне кажется... из Гульрипши (англ.).

¹⁰ Мы называем это «ватерклозет» (англ.).

¹¹ Достаточно... (англ.)

Теперь я посвечу вам спичечкой. Там, на дне унитаза, есть надпись. Как теперь говорят, фирменная.

И внутри унитаза, когда-то белоснежного, а затем почерневшего от коммунальной советской жизни, на дне, покрытом паутиной траурных трещин, англичанка изумленно прочла надпись на своем родном языке: «Prescott Sparks and sons. Made in England 1891»¹².

– Ну что, очаровательная леди из страны доктора Флеминга и Прескотта Спаркса, добавил я вам национальной гордости, а? – довольно заскрежетал юморист-лагерник. – Вы представляете – какую антологию задов помнит сей нерушимый монумент англосаксонской цивилизации, переживший и Александра Третьего, и Николая Второго, и Керенского, и Ленина, и Сталина, и Хрущева, а теперь так же стоически переживающий Брежнева?

Юморист-лагерник наклонился к розовой английской мочке со вздрагивающей от любопытства сережкой и засвиристал доверительным полусшепотом:

– Этот унитаз, моя очаровательная леди из страны могилы Маркса и процветающей сети магазинов «Marks and Spenser» как единственной разновидности марксизма, приносящей прибыль, помнит и дореволюционной выпечки сдобные купеческие зады, и покрытые нервной сыпью зады чекистов, и татуированные зады налетчиков, где кошка на одной половине зады гонится за мышкой на второй его половине, и уставшие от влияния зады уличных проституток времен нэпа, и начинавшие было сдобнеть, но быстро исчезнувшие зады самих нэпманов, и победно сдобнеющие зады партаппаратчиков перед их долгожданным переселением от коммунального унитаза к персональному, и, наконец, наши современные, дергающиеся от спешки зады, торопливо старающиеся извергнуть их невпечатляющее содержимое в бесконечность.

Биография этого унитаза, моя очаровательная леди из страны разведчика Филби, чей коммунистический романтизм расцвел пышным цветом на благодатной почве файлов под грифом «Совершенно секретно», делится на два варианта отношения к унитазу – к сему безмолвному, но верному другу человека. Первый вариант – это когда люди, уважающие процесс освобождения собственного организма от шлаков, аккуратно располагали свои мягкие места на предназначенной для этого раме, аккуратно застеленной полосками туалетной бумаги. Второй вариант – когда на этот многострадальный унитаз взгромождались прямо подошвами сапожищ с металлическими подковками, пребывая в так называемой позе орла и безжалостно разрушая белоснежное тело унитаза.

Но в том-то и было величие мистера Прескотта Спаркса и его сыновей, что они, в отличие от Маркса и Энгельса, делавших бессмысленную ставку на совершенствование человека, пророчески предвидели второй вариант поведения, а именно – агрессивного несовершенства, и заложили свое предвидение в расчеты по прочности унитазов. Я не против социализма, но я за социализм унитазов с англосаксонским лицом.

Если вы, очаровательная леди, когда-нибудь встретите потомков мистера Прескотта Спаркса, передайте им, что дело его живет, несмотря на всю моральную недоразвитость так называемого развитого социализма, и что самые выносливые унитазы, сотворенные его гением, по достоинству войдут в двадцать первый век как ветераны мировой гигиены, выстоявшие под лавиной экскрементов всего человечества.

Так в самых неожиданных местах, даже в коммунальных уборных, моя жена открывала глубокое почтение в русских сердцах к ее родной англосаксонской культуре.

Один постоянно напряженный от страха собственной неполноценности стихотворец – и от этого страха превратившийся в оголтелого боевика русского шовинизма, несмотря на предательски выдающие его татарские скулы, – оказался с нами на одном дне рождения и пристал к моей англичанке, откровенно вербуя ее в ряды сторонников расовой чистоты.

¹² «Прескотт Спаркс и сыновья. Изготовлено в Англии 1891» (англ.).

– Мы, русские, и вы, англосаксы, наконец должны объединиться. Надо спасать Толстого и Диккенса от мирового еврейского заговора.

– А откуда вы знаете, что вы не еврей? – насмешливо спросила его моя англичанка.

– Что вы имеете в виду? – нервно напрягся он, и его глаза заметались под стеклами очков, как два хищничка в клетках.

– Я, например, не уверена, что I am not a Jew¹³. Как я могу знать о грехах моей прабабушки... – засмеялась она. – Так что будьте осторожны и вы...

Иногда она забывала о том, что она иностранка, а это по тем временам было опасно. Однажды она упростила меня взять ее в Горький, куда я ехал, чтобы получить машину прямо на автозаводе. По тогдашним, но, по-моему, и посейчас не отмененным сволочным законам, она, как иностранка, должна была запрашивать дополнительную визу в каждый пункт Советского Союза. Но я тогда спешил, и времени на запрос ее визы в Горький не было. Как мне казалось, я предусмотрел все, чтобы она избежала полицейских неприятностей. Я взял билеты не на самолет, где проверяют паспорта, а на поезд и позвонил моему знакомому горьковскому дирижеру, попросив его приютить меня и «одну мою хорошенькую знакомую». Он восторженно согласился, что спасало ее от проверки паспортов в гостинице, и деловито осведомился, что я и моя знакомая предпочитаем на завтрак. Я шутливо сказал, что ананасы в шампанском, рябчиков в сметане и черную икру.

Дирижер встретил нас ранним утром на вокзале с распростертыми для объятия руками, в каждой из которых сиял от счастья принимать дорогих гостей букет свежайшей, лилово серебрищейся сирени, выглядевшей так торжественно, так предмузыкально, как будто внутри любого букета было спрятано по волшебной дирижерской палочке.

Дирижер немедленно повез нас в горьковский старинный кремль и, несмотря на свое еврейское происхождение, с гордостью почти русского националиста стал рассказывать историю Древней Руси, утвердившейся именно здесь, на берегах Волги. Бензинно-атомный воздух двадцатого века сразу наполнился свистом летящих татарских стрел с ястребиным опереньем, загрохотал набатными колоколами на обугленных пожарами златоглавых церквях, и, словно стараясь ухватить за хвосты летящие над нами реактивные самолеты, над волжским холмом вдохновенно летали упоенные руки влюбленного в Древнюю Русь дирижера с иудейскими глазами, генетически навсегда впечатавшими призраки погромщиков, сжимающих в кулачищах булыжники с прилипшими к ним окровавленными волосиками убиенных детей.

– Как странно, что здесь совсем нет интуристов. Здесь так прекрасно, – сказала моя англичанка.

– Что ж тут странного... – пожал плечами дирижер. – Горький – абсолютно закрытый для иностранцев город. Ведь у нас огромный танковый завод, да и много чего другого секретного. Сплошной «почтовый ящик».

Я похолодел от ужаса, поняв, что моя англичанка из-за моей беспечности может быть обвинена в нарушении паспортного режима и шпионстве, а вот в ее фиалковых глазах заплясали озорные чертики, как пираты с кинжалами в зубах, взобравшиеся в зрачки по невидимым мачтам.

Я совершенно потерял дар речи и угнетенно молчал, пока дирижер продолжал рассказывать и показывать город, еще не догадывающийся о том, что скоро его сделают местом ссылки Сахарова, именно благодаря закрытости для иностранцев.

Пока дирижер у двери своей квартиры искал по всем карманам куда-то запропастившийся ключ, я увидел на противоположной двери внушительную надпись, выгравированную на медной табличке: генерал милиции такой-то.

¹³ Я не еврейка (англ.).

– Не правда ли, забавное у меня соседство? – улыбнулся дирижер. – Зато можно не бояться воров.

Но мне, в отличие от дирижера, стало не по себе.

– Вы извините, я приготовил завтрак в кухоньке, по-холостяцки... – извинился дирижер, но когда мы вошли в кухню-крохотульку, то обомлели.

На полу стояло, правда, не серебряное, а пластмассовое ведро с полурастаявшим льдом, из которого торчали сразу четыре бутылки шампанского, а на столе, застеленном белоснежной скатертью, красовался самый настоящий ананас, четвертый ананас за всю мою советскую жизнь, похожий на уменьшенный незабываемый павильон американской национальной выставки в 1959 году в Сокольниках, накрытые прозрачной пленкой рябчики с брусничным вареньем и глубокая суповая тарелка, полная браконьерской икры, крупнозернистой, как свежий асфальт, еще не утрамбованный стальным катком.

– О, это самый красивый завтрак в моей жизни! – воскликнула моя англичанка.

– У вас легкий акцент... – заметил дирижер, пытливо вглядываясь в нее. – Вы из Прибалтики?

Она растерялась, замолчала, почему-то залилась краской, как будто ее поймали, как школьницу, на обмане.

– Простите, что я не сказала вам сразу. Я – из Англии.

Я думал, что нашего хозяина хватит инфаркт, но все произошло по-другому.

– То, что вы из Прибалтики, – это была только моя слабая надежда. Я давно понял, что вы не отсюда... – неожиданно спокойно сказал дирижер.

– Каким образом? – вырвалось у нее.

– Во всех нас, советских, есть какая-то скованность. Даже когда мы бываем развязны и хамоваты – это от нашей скованности. Если нас одеть во все от Сен-Лорана или Кристиана Диора, мы все равно узнаваемы... Вы – из другого мира. Вы не стояли в очереди с детства.

– Но я стою теперь, – ответила она даже с гордостью. – Извините, но мы не знали, что Горький – закрытый город.

– Да вы не бойтесь, – сказал дирижер. – Если уж нас посадят, то посадят всех вместе. Раздался звонок в дверь. Мы переглянулись. Звонок повторился еще настойчивей.

– Неужели в нашей стране еще кто-то работает, ну хотя бы КГБ? – невесело пошутил дирижер и пошел открывать.

В дверь не вошел, а как-то боком ввалился грузный человек лет шестидесяти, в шлепанцах на босу ногу, в спортивных динамовских шароварах со вздувшимися коленями, в майке, из выреза которой торчали седые заросли на груди, окружавшие, словно ковыль, татуировку с довольно нестандартной надписью: «Выхожу один я на дорогу».

– Сосед, у тебя не найдется глотка на опохмел? Нет, нет, шампанское – это не то. Чего-нибудь бы покрепче...

И я, и моя англичанка поняли, что это и есть тот самый генерал милиции.

Дирижер, исполненный добрососедских чувств, смешанных с тайным ужасом перед властью, даже если она в домашних шлепанцах, полез в холодильник, в кухонный шкафчик, под мойку и сокрушенно развел руками.

– А одеколончика, на крайний случай, у тебя не найдется? – с надеждой спросил генерал, страдальчески морщась от головной боли.

– Вчера сантехнику последний флакон «Шипра» отдал... – виновато признался дирижер.

– У меня есть парфюм... – с благотворительным энтузиазмом воскликнула моя англичанка.

– Чего, чего? – настороженно засопел генерал.

– Это духи... духи... – поспешно развеял его настороженность дирижер, в отчаянье нажимая под столом на ногу моей англичанки, чтобы она не употребляла иностранных слов.

Она, видимо превратно поняв этот тревожный сигнал, с деловитой последовательностью открыла сумочку и вытащила оттуда флакончик, сразу утонувший в изнывающе протянутой могучей ладони генерала.

– Это «Опиум», – пояснила моя англичанка.

Генерал, уже начавший откручивать пробку, встрепенулся, как сторожевой пес, и у него напряглись даже уши.

– Наркотик? – переспросил он, и в его мутных глазах появилась нацеленная профессиональная осмысленность, заискрились блики «Золотой Звезды» Героя Советского Союза, вручаемой ему самим Брежневым за раскрытие крупнейшего на территории Горьковской области наркобизнеса.

– Да нет, это только название, – залилась моя англичанка звонким смехом, не закомплексованным от советских доставаний лифчиков и туалетной бумаги.

– А... – несколько разочарованно успокоился генерал и тяпнул духи прямо из горлышка, крикнув от произведенного глубокого впечатления. – Смердит, едри твою в корень, но градусность в порядке. А вообще-то, наш «Тройной» получше.

И вдруг я заметил, что из беспечно раскрытой сумочки предательски торчит синяя с золотом обложка британского паспорта, на которой королевскую корону обнимают, как верные стражи, два уцененных парламентской системой льва. Слава богу, мне удалось как бы небрежно прикрыть британский паспорт журналом «Советская музыка». Да, было о чем вспомнить после поездки в Горький...

А потом она пригласила меня в Англию, и я впервые оказался за границей не как поэт, а как родственник.

Ее дедушка был миллионером не в американском, а в английском смысле этого слова: у него был примерно миллион фунтов. Он начал мальчишкой с продавца в овощном магазине и разбогател на теплицах – даже для эксперимента однажды вырастил в Англии ананасы. В его шестнадцатикомнатном доме, где он жил вдвоем с женой, не было ни одной книги, за исключением Библии.

– Зачем покупать другие книги, если все написано в Библии, а я ее всю еще не прочел, – сказал он мне.

Он с уважением стал относиться ко мне, после того как увидел, что я сам глажу свои вельветовые брюки.

– Вельвет – трудный материал, – заметил он. – Вы правильно делаете, что гладите его через газету. Это единственное, на что газеты годятся.

Одна довольно богатая родственница моей жены вдруг заявила к ней с норковым манто в руках.

– А ну-ка примерь...

Когда моя жена надела манто, родственница воскликнула:

– Оно как будто сшито на тебя. Решено – оно твое.

Моя жена зарделась, признательно поцеловала родственную щеку и украдкой бросила гордый взгляд на меня – вот видишь, какие у меня родственники.

Но родственница, хохоча, стянула с нее подарок.

– Я своему слову хозяйка. Оно твое, милочка, твое... но только после моей смерти, – и продолжала хохотать, видимо находя свою шутку остроумной.

Я даже отвел глаза от лица моей жены – настолько оно было убитым, униженным.

На следующий день я пошел к моему лондонскому издателю, выцыганил у него аванс за книгу фотографий и купил моей жене норковое манто. Я никогда ее не видел настолько сияющей. Дело было, конечно, не в шмотке – плевала она на них! – а в ее гордости.

Пальцы ее рук были доказательством ее «низкого» происхождения – они были толстыми, словно манильский канат, и корявыми, словно корни дубов Шервудского леса. В своем роду, происходящем от французских вояк и английских пиратов, она была первой, кто получил высшее образование, да еще и кембриджское. А до этого она училась в женском Четельхэмском колледже, знаменитом строгими правилами, и читала такие отнюдь не рекомендованные книжки, как «Любовник леди Чаттерлей» или «Лолита», укрывшись с головой под пуховым одеялом и водя карманным фонариком по буквам. Она была капитаном команды колледжа по хоккею на траве, прекрасно плавала, владела всеми приемами бокса и джиу-джитсу.

Однажды в ресторане ВТО, когда ко мне начал лезть какой-то пьяненький актеришка, такая засаленный галстук в мой салат, она, очаровательно улыбаясь, сделала полузаметное молниеносное движение, и он с хрюском шмякнулся о стену, сползая по ней, как обезмускулевший мешок с костями. Впоследствии и мне дважды пришлось испытать силу ее удара – один раз по морде, после чего я ходил несколько дней в позе дисциплинированного солдата, равняющегося только направо, а второй раз – ногой, и в то самое место, которое это заслужило.

Она была отчаянная девочка. Когда по дороге из Белфаста на Лондондерри мы попали в перестрелку между протестантами и католиками, засевшими по разные стороны шоссе, она решительно пхнула вниз мою голову ладонью и, пригнувшись к самому рулю, яростно нажала на газ. Скорчившись, я ничего не видел – только слышал вой мотора, выстрелы и портовые английские ругательства из английского ротика сердечком. Вдруг выстрелы прекратились, но что-то тяжелое грохнулось на капот нашего крохотного «Mini-Club» и зарычало. Я поднял голову и увидел, что на капот взгромоздилась самая настоящая львица и, разевавая бездонную нежно-розовую пасть с жемчужными клыками, шлепает когтистой лапой по лобовому стеклу.

Перед носом машины с визгом носились два перепуганных львенка.

Я обалдело пытался сообразить – откуда взялись львы в Ольстере? Но моя англичанка не растерялась и принялась мотать машину в слаломе между деревьями, то швыряя ее вперед, то резко тормозя. Наконец она сбросила любопытную, а может быть, просто испугавшуюся за своих львят львицу с капота, вырулив из обнесенного металлической сеткой загона, над воротами которого было написано: «САФАРИ В ОЛЬСТЕРЕ. Въезд на машине – пять фунтов. Просьба закрыть окна и не останавливаться».

Моя англичанка решила рожать на родине, в Бормусе. По английскому обычаю, муж присутствует во время рождения ребенка. Я согласился, преодолев русскую застенчивость, а может быть, ханжество, или трусость, или все, вместе взятое.

Когда начались схватки, жена попросила, чтобы я держал ее руку в своей, и, хотя ей было больно, улыбалась. Появившийся из нее ребенок был синий, как утопленник, глаза у него были закрыты, и я испугался того, что он мертв. Но толстенький, лысенький, чуть попахивающий пивком доктор Сид, похожий на русского земского врача вересаевских времен, шлепнул моего сына пару раз по сморщенной попке, и тот заорал благим матом, кривясь всем личиком.

– У меня есть одна, совсем не медицинская догадка, почему все новорожденные дети такие сморщенные, – улыбаясь, сказал доктор Сид, стягивая окровавленные хирургические перчатки и, к моему ужасу, закуривая сигарету (правда, все-таки выпуская дым в форточку). – Они заранее морщатся, потому что инстинктивно чувствуют, сколько гадостей их ожидает на свете. Что вы хотите от вашего сына? Он был в таком уютном, теплом местечке, защищенный со всех сторон маминым телом. А сейчас ему холодно, он чувствует себя беззащитным, одиноким и не может понять, куда делась его мама.

Видя, как я счастлив, жена прошептала мне:

– Я хочу еще один сын. Им будет лучше together, I promise¹⁴, – они оба будут крепкие, как кремни.

Однажды ночью в Переделкине произошло нечто странное.

Я проснулся, разбуженный самолетным гулом, сотрясавшим нашу крышу. Мы жили рядом с аэродромом, но такого сильного гула не было никогда. Это был гул не одного, а множества самолетов, которые, казалось, летели крылом к крылу и с недобрыми целями. Затем раздался оглушительный взрыв, и по стенам комнаты полыхнуло пронзительно-белым магнитным светом.

«Атомная война. Конец» – вот что сверкнуло, как отблеск, во мне.

Я поцеловал спящую жену и сына с четкой мыслью – лучше, если они умрут такой страшной смертью во сне, и медленными шагами смертника подошел к окну террасы. Я так же медленно стал раздвигать шторы, заранее инстинктивно шурясь от страшного, ослепляющего атомного гриба. Его не оказалось. Но взрывы вокруг продолжали грохотать, то справа, то слева, на мгновение выбеливая темные облака. Это было не похоже на грозу, потому что не было ни ветра, ни дождинки. А самолетный гул продолжался. «Война. Но все-таки не атомная, – уже с некоторым облегчением подумал я. – Тем не менее это явно бомбежка».

Я разбудил жену. Она вышла со мной на террасу и, взглядевшись, успокоительно обняла меня:

– Это не война. Это сухая гроза. Такая гроза у нас тоже была однажды в Кембридже, и я тоже испугалась, что это война. Послушай лучше heart beating¹⁵ нашего второго сына. Он скоро придет на помощь к первому. – И она положила мою руку на свой начинающий наполняться моим сыном живот.

Когда жена была уже на сносях, она однажды совсем не вовремя пришла с какими-то бытовыми делами в мою рабочую комнату поздно вечером, когда я писал и у меня ни черта не получалось.

– Ты же видишь, что я работаю... – зло прошипел я и, даже не глядя в ее сторону, сделал резкое отстраняющее движение рукой. Нечаянно я угодил ей рукой прямо в живот.

– Я же беременна! – закричала она не своим голосом, похожим на рычание той львицы на капоте, испугавшейся за своих львят, и ее фиалковые глаза впервые наполнились ненавистью ко мне.

Наш второй ребенок оказался болен внутриутробной болезнью под трудновыговариваемым названием «цитомегаловирус».

Сколько мне ни объясняли врачи, что мой удар по животу, где был ребенок, не мог быть причиной болезни, во мне жила и живет мучительная догадка о моей виноватости во всем, что произошло с моим вторым сыном. Моя жена героически делала все, чтобы поставить его на ноги, но его болезнь разделила нас. Ненависть, возникшая в ней, не исчезла, а превратилась в мстительную ущемленность, в постоянное раздражение моим якобы равнодушием к сыну.

Если тот мой удар в ее живот не был причиной болезни сына, то он стал причиной конца ее любви. Оказалось, что, при всей ее внешней открытости, она еще с четельхэмских времен, когда надо, умела быть скрытной. Англичане – японцы Европы.

Однажды, когда в Гульрипше штормило и белые отблески молний плясали на стенах, я прижался к спящей жене, как тогда, во время сухой грозы, но жена резко оттолкнула меня во сне. Это был ее ответный удар.

Жена приняла решение развестись со мной, а она из тех, чье самолюбие не позволяет менять решений. Все мои уговоры ни к чему не привели. Красивая и, как мне сказали

¹⁴ ...вместе, я обещаю (англ.).

¹⁵ Биение сердца (англ.).

потом, одинокая женщина-судья никак не могла понять, почему эти двое прекрасных родителей двух прекрасных детей, в отличие от многих других разводящихся не поливающие друг друга грязью и, кажется, еще любящие друг друга, – все-таки разводятся.

Моя бывшая жена вскоре вышла замуж и уехала вместе с мужем и моими двумя детьми в Англию.

Я приполз, как израненный зверь, в наш гульрипшский дом, когда все уже было кончено. Теперь – приползают домой на самолетах. Лунная дорожка на воде тянулась, как мой окровавленный след. Каждый булыжник на ограде, сложенной руками моего соседа Бичико, смотрел на меня, словно соленый каменный глаз. На двух яйцеобразных керамических вазах с лиловыми цветами внутри мерцали названия мест, где мы родились: «Станция Зима» по-русски и «Begy Hill» по-английски, что означает «Ягодный холм». Я пытался навсегда соединить наши места рождения, и ничего не вышло.

Я тупо подумал о том, что надо найти кого-то, кто переделал бы цветную мозаику на одной из ваз. Раскаленные угольки на крыльях моего улетающего назад самолета чиркнули по виноградной беседке, где еще остались веревочные узлы от детских качелей. Узлы так туго затянуло, что развязать их было невозможно, и в последний отъезд качели, которые мы увозили в Москву, пришлось срезать. А вот узлы остались.

Деревянное гимнастическое сооружение, на котором делал свои упражнения мой младший сын Тоша, стояло во дворе неуклюже и пугающе, как виселица.

Я вошел в дом, и первое, что сделал, – снял со стены огромную фотографию, где я и моя бывшая жена десять лет тому назад стояли в обнимку у Ингурского водопада, не догадываясь о том, что мы когда-нибудь можем расстаться. Я ткнул фотографию в простенок за шкаф, чтобы те двое у водопада, любящие друг друга навсегда, не увидели бы, что теперь я остался один.

Я вышел на террасу, схватившись за железные, недавно подкрашенные поручни с бородавчатыми наростами от морской соли, и с машинальной ворчливостью сообразил, что перед покраской надо было ободрать эти поручни железной щеткой, а не красить по наростам.

Когда-то, стоя на раздвижной лестнице, я отдраивал такой же щеткой рыжую ржавчину с водопроводных труб виноградной беседки, а потом красил ее корабельной красной краской, голый до пояса, с телом, заляпанном, как палитра, и голова кружилась от запаха краски и магнолий, и далекий беленький пароходик уже зажигал огни на вечереющем море, оказавшись перед моим взглядом в нечаянной раме между свежелоснявшимися алыми трубами, где в шершавую поверхность одной из труб моей неосторожной кистью был вмазан случайный мотылек, умирающе трепеща одним не завязшим в краске крылышком.

Я стоял на террасе, а из чердака над моей головой, задевая ее пыльными крыльями, вылетали на шабаш летучие мыши, которых в Италии называют нежно и музыкально – «пипистрелло». Это итальянское слово очень похоже на грузинское «цицинателла», что означает «светлячок», как чем-то похожи и эти щедрые, гостеприимные, веселые и, может быть, самые неевропейские европейские народы.

Я стоял на террасе и знал, что дома никого нет. Но вдруг я всем позвоночником ощутил чей-то пристальный взгляд в спину. Этот взгляд упирался в меня, как нечто осязаемое, плотное.

Я медленно стал поворачиваться, словно картежник, поставивший все на последнюю карту, осторожно и суеверно вытягивая ее уголок.

Сквозь открытую дверь террасы, в глубине комнаты, где обычно спали наши дети, я увидел два мерцающих в темноте глаза.

Я вздрогнул и медленно пошел на них, потому что они звали – печально и неотступно.

Я приближался к этим глазам почти на цыпочках, стараясь не спугнуть их скрипом половиц. Мне не показалось. Глаза были. Глаза смотрели.

Это были стеклянные глаза потрепанного игрушечного льва, которым играли мои дети.

* * *

Но Бог мне послал еще одну любовь, когда я уже ни на что не надеялся.

Мой старый институтский друг, нутром почуяв, как мне худо, пригласил меня в Карелию, организовал все, чтобы мне было хорошо.

Но кто организовал, чтобы худенькую, почти прозрачную, как мотылек, трепещущий от любви к отечественной словесности, библиотечаршу местного университета, как нарочно, назначили дежурной по каталогам именно в тот день и в те часы, когда поэт ее поколения, чьи столькие стихи она знала наизусть, наконец-то выступал в ее городе и ей с таким трудом удалось заполучить пропуск?

Но кто организовал то, что круизный теплоход «Надежда Крупская», набитый астраханскими туристами, не смог войти в шхеры из-за штормового ветра и простоял на рейде и это неожиданно освободило в тот день дочку университетской библиотечарши от ее обязанностей гида, чем она подрабатывала, будучи студенткой медфака?

Мама отдала дочке свой пропуск, сунула ей найденный в спешке второй том из двухтомника поэта и попросила, чтобы дочь взяла автограф, но только не себе, а ей, матери, – все же они были одного поколения с поэтом.

Дочь не очень довольно фыркнула: «Вот если б это был Окуджава», ибо все ее взаимоотношения с приезжей знаменитостью сводились только к тому, что когда-то в школе, исполняя на конкурсе его стихотворение, она безжалостно сократила его вдвое. Вообще, она интересовалась гораздо больше судебной медициной, чем современной поэзией.

До места выступления от их дома было довольно далеко, а времени оставалось мало, и, безнадежно поджидая субботний автобус, она уже собиралась возвращаться домой с неподписанной книгой.

Но кто организовал то, что к ней вдруг сама подкатила машина такси, такая редкая в этом районе и вообще в этой стране, а шофер, открыв дверцу с улыбкой Мефистофеля, как бы случайно соблазняющего Маргариту, бросил нечто вроде бы само собой разумеющееся:

– Ну что, куда едем?

После выступления, подписывая протягиваемые мне книги, и – каюсь! – не всегда поднимая глаза, чтобы посмотреть на лица, я вдруг увидел перед собой бледную руку с беззащитными голубыми веточками жилок, с почти прозрачными, как сосульки, тонкими ломкими пальцами. Лицо руки было удлинённым, модильяниевским. В руке чернел мой второй том.

Я поднял глаза и увидел прекрасные молодые, но зрелые черты – васнецовские дуги бровей, глубокие озерные впадины русалочьих прохладных глаз – и такую же прозрачную кожу, где жилки казались прожилками на мраморе.

– Подпишите, пожалуйста, эту книгу для моей матери, – родился из ее лица чудом сохраненный, неповторимый русский голос, прозвучавший как будто откуда-то из Новгородской Руси, где такие же белолицые девушки в красных сарафанах и высоких кокошниках носили на плечах цветенные коромысла с родниковой водой, чистой, как их глаза.

Только легкая аристократическая горбинка носа с нежным вырезом чуть вздрагивающих ноздрей выдавала где-то брезжущую в крови польскую шляхетинку. (Польская шляхетинка в крови позднее подтвердилась, а вот происхождение горбинки на носу оказалось совсем иным: в детстве она играла на дворовом катке хоккейным вратарем, и ей запузарили шайбой прямо поперек носа.)

– А почему автограф для матери, а не для вас? – старался я выиграть время, чтобы разглядеть ее, вывести о ней как можно больше.

– Потому что это ее книга, а не моя, – объяснила она, и этот голос мне хотелось слушать и слушать не переставая.

Однако от такого ответа мне стало несколько обидно, хотя я постарался это скрыть.

– А почему только второй том? – допытывался я.

– Потому что я очень спешила, а первый куда-то подевался.

Стало еще обидней, но мне хотелось узнать ее имя.

– Нет, я не буду подписывать книгу вашей маме, – сказал я. – Я подпишу ее вам. Как вас зовут?

– Маша, – ответила она, и в этом «м» было что-то от мычания коров, мягко окунающих копыта в стелющийся на лугах туман, в этом двойном «а» звенела северная протяжная песня, перекликающаяся с другой песней на другом берегу озера, а в «ш», спрятанном между двумя «а», слышался шелест камышей, поднимающих на своих черных пиках медленно всплывающее из-под воды солнце.

Я никогда не встречал женщину, которая была бы так похожа на это имя: Маша. А может быть, это имя такое особое, что сразу приколдовывается к той, кого так называют?

Я подписал ей книгу, но вдруг меня кто-то отвлек, и я на мгновение отвернулся, а когда снова хотел спросить ее о чем-то, она уже исчезла.

Стараясь никому не показать, что я гонюсь за ней, но тем не менее удивляя своего институтского друга более чем ускоренным шагом, я рванул за ней следом.

Она спешила и почти летела по воздуху, высокая, обнятая ветром, похожая на тугую, трепещущую парусную мачту, плывущую над вспененным простором Онего.

Я нагнал ее на улице и предложил место в машине.

– Не могу. У меня сейчас экскурсия, – не останавливаясь, сказала она.

– Какая экскурсия?

– Я подрабатываю гидом. Извините, я спешу. Спасибо еще раз за книгу. – И она стремительно исчезла за поворотом улицы.

«Неужели я ее больше никогда не увижу?» – с неожиданным страхом подумал я.

На следующий день все петрозаводское турбюро ошеломленно прекратило работу, когда я позвонил и попросил домашний телефон гида, которая Маша, которая высокая и у которой голубые глаза.

Телефон мне сообщили, но оцепеневшим и почему-то даже как бы оскорбленным женским голосом, словно я кое-кого явно переоценил, а кое-кого явно недооценил.

Я позвонил Маше по междугородному набору из карельской деревушки, где был домик моего друга.

Трубку взяла ее бабушка и сказала, что Маши нет дома. Я спросил, когда она будет. Как раз в этот момент по местному радио в записи звучал мой голос, читающий стихи. Бабушка, одновременно слушая меня по радио и по телефону, несколько обомлела, подумав, не сходит ли она с ума. Тем не менее она, как старая большевичка, не растерялась и ткнула телефонную трубку внучке, которая на самом деле была дома, но, по тайному сговору с бабкой, пряталась от одного смертельно надоевшего ей обожателя, который и внушил ей неприязнь к поэзии тем, что обчитывал ее стихами.

Мы говорили с Машей долго, может быть час, но это был разговор скованный, как будто при нежелательных свидетелях. Так оно, кстати, и оказалось.

В середине разговора Маша почему-то меня спросила:

– А что вы думаете про американцев? Когда я смотрю их полицейские фильмы, американцы мне иногда кажутся очень тупыми...

– Да нет, американцы – они хорошие. Но у них есть то, что я называю «макдональдизацией культуры»... – сказал я, начиная важничать, распускать павлиний хвост, и закатил целый телефонный доклад про Америку – этак на полчаса и, как оказалось потом, в полную

пустоту, ибо наши телефоны разъединили именно после фразы «американцы – они хорошие».

Впоследствии Маша иронически привыкла к тому, что ее телефон поставили на постоянное подслушивание, и злилась только на то, что это подслушивающее устройство то и дело невежливо ломалось, прерывая наши разговоры.

Наше первое свидание с глазу на глаз произошло в местном ресторане, находившемся в бывшем здании городской полицейской управы. Там был крохотный, с низкими сводами, похожий на монашескую келью кабинет на двоих, называвшийся «каземат», ибо именно в нем еще в царское время держали заключенных во время расследования. Здесь и произошел мой главный разговор с Машей.

Во всех других залах плескалось море разлитое водки, которую за стенами ресторана продавали только по горбачевским талонам, и центральный танцевальный зал был похож на дымящуюся кастрюлю, в которой бурлила переливающаяся через край сборная солянка торгового, прибалтийского и комсомольского городского высшего света, приправленная «Ягодой-малиной», «Кудрявой рябиной», «Миллионом алых роз», а заодно и «фрей-лехсом», который в России с удовольствием танцуют даже те, кто всегда готов при случае засучить рукава и «набить морды жидам».

А мы сидели вдвоем в «каземате», и я рассказывал этой двадцатитрехлетней девушке, о которой ничего не знал, всю мою жизнь.

Я рассказал, как потерял две мои любви и как сейчас пытаюсь спасти третью.

Я рассказал, как я мечусь из страны в страну, из города в город и как мне страшно, что меня никто не провожает, когда я уезжаю, и никто меня не встречает, когда я возвращаюсь.

И вдруг она просто и прямо сказала:

– Хотите, я вас провожу, когда вы будете куда-нибудь уезжать, и встречу, когда вы вернетесь?

– Хочу, – ответил я и поцеловал ее почти прозрачную руку, почувствовав губами, как бьются прожилки на мраморе.

А еще я спросил у нее:

– Посоветуйте, что мне делать сейчас?

И она сказала взросло и строго:

– Вы должны сейчас сделать все, чтобы спасти вашу семью. Иначе вы себе этого не простите. Если вам это удастся, я исчезну из вашей жизни навсегда.

Я сразу понял – это жена.

Ничего не зная о Маше, я придумал, что ей двадцать девять – тридцать лет, что она разведена и одна воспитывает маленькую дочь на маленькие деньги, но ошибся во всем.

Может быть, она показалась мне взрослей своих лет, потому что сразу поняла, как мне плохо.

В любви женщина всегда взрослей. В жене мы инстинктивно ищем вторую мать, ибо первую рано или поздно теряем.

Маша прилетела со мной в Москву на три дня, чтобы проводить меня в Испанию.

На аэродроме нас встретили два моих старых друга: школьный кореш, который играл со мной в футбол еще на пустырях сталинских времен, потом много лет сидел по навешенному на него мерзкому уголовному делу, а впоследствии довольно убедительно сыграл в моем фильме «Похороны Сталина» одного из чекистов, коих он люто ненавидел, и подводник, начавший случайно, но на всю жизнь заниматься евтушенковедением в результате Карибского кризиса, когда их субмарина довольно долгое время проваландалась около берегов Кубы, а единственной книгой, которую он взял с собой, рассчитывая на недолгое погружение, был томик моих стихов.

Они оба знали, как мне хреново, оба пытались уговорить мою английскую жену не разводиться и оба поняли, что это безнадежно.

На аэродроме в их глазах сначала была предварительная недоверчивость, как у многоопытных крестьян, которым цыган во что бы то ни стало хочет всучить сомнительную лошадь, но как только они разглядели Машу, то переглянулись и перекинулись.

– Жена, – шепнул мне первый.

– Человек, – одобрительно пробурчал второй.

В Переделкине мои собаки не залаяли на Машу.

С людьми было сложнее, но я этого и ожидал.

Не так просто оказалось и с Машей.

Я иногда забывал, что Маша очень молода и многого не знает, а многое понимает совсем не так, как я.

Когда мы проезжали мимо Манежа, где стояли толпы людей, чтобы попасть на выставку одного знаменитого художника, Маша умоляюще сжала мой локоть, показывая глазами на вход.

– Он – любимый художник моей лучшей подруги.

Этот художник, когда-то гонимый и сердобольно опекаемый либералами, как все гонимые в России, уже давным-давно извертелся, испошился, но в провинции по инерции все еще считался опальным гением.

Я поморщился, но пошел на выставку. Для меня это была серьезная проверка Маши – не ее вкуса, а ее способности ко вкусу. Вкус можно воспитать, а вот если нет способности ко вкусу – это невоспитуемо. Я с ужасом ждал, что ей могут понравиться эти картины.

«Опальный гений» на сей раз не выставил портрета Брежнева, который после своей смерти, очевидно, перестал казаться художнику таким симпатичным и таким человеческим, как при жизни, когда он мог лишь четвертью лелеемой фирменной брови лениво дать указание присвоить этому слегка назойливому, но рисующему похоже и даже лучше, чем похоже, портретисту звание народного художника СССР.

Удивительно, что Маше, которая была ни больше ни меньше на тридцать лет моложе меня, на выставке понравились глухие бездонные колодцы петербургских дворов, затравленно обнявшиеся в них фигурки, строгий лик Блока на фоне карусели самодовольных морд, Ксюша Некрасова, похожая на деревенскую блаженную с ясновидящими глазами, неосмотрительно взятую в домработницы, – то, что и мне нравилось лет тридцать тому назад, когда я был в Машином возрасте. Но когда Маша увидела убиенного царевича с так плохо нарисованным разрезанным горлом, что ее знание судебной медицины возмущенно восстало, богатырей-истуканов с тупыми ряшками комсомольских дружинников-каратистов в роли спасителей Отечества, опереточных королей с холеными мордами доберман-пинчеров, Гагарина в виде а-ля-рюсского сладенького отрока, одинаковые страдальческие глаза Алеши Карамазова и Джины Лоллобриджи, сработанные на одном и том же конвейере, китчевое меню знаменитостей двадцатого века – от Николая Второго до Чарли Чаплина, соломенные шляпы вьетнамских крестьян, выглядящие так, как будто они от Cristian Dior, наконец, президента Альенде, так помпезно выпячивающего грудь с голубой президентской лентой, что он становился похожим на Пиночета, у Маши разочарованно вырвалось:

– Да ведь это штамповка...

Я облегченно вздохнул.

Года через два, когда в конце длинного коридора Нью-Йоркского музея современного искусства Маша увидела очень издалека, без малейшего шанса разглядеть подпись, картину, похожую на сначала разломанную, но потом сросшуюся радугу – только не в цвет к цвету, то на мой коварный вопрос: «Чья это картина?» – она спокойно ответила с чувством превосходства:

– Разумеется, Кандинский.

С политикой у Маши было сложнее.

Она не была сталинисткой, однако считала Сталина «великим человеком, сделавшим много ошибок». Маша родилась через десять лет после смерти Сталина.

Девчонки и парни ее поколения ненавидели, а точнее сказать, презирали не Сталина, а Брежнева за то, что их заставляли изучать его занудные мемуары, потешались над задыхающимся астматиком Черненко, над никогда не улыбающимся, угрюмым, как инквизитор, крючконосый Андроповым, над всеми членами Политбюро, чьи портреты, выдаваемые под расписку, их заставляли носить на палках во время Первомайских и ноябрьских демонстраций. Эти портреты менялись так быстро, что было трудно запомнить лица и фамилии, да и никто не старался их запоминать. Однажды Маша сильно занозила руку плохо оструганной палкой с портретом человека, ни имени, ни должности которого ни она и никто из студентов не знали.

Вообще-то, на Сталина этим ребятам было наплевать. Им были гораздо интересней новые записи Б. Г., слухи, за кого снова вышла замуж Элизабет Тейлор или на ком наконец-то женится Витька с пятого курса медфака – на Ритке с биофака или на Томке с филфака. Но Сталин все-таки был всемирно знаменитым. Но Сталин все-таки победил Гитлера. И Сталин – даже если он был злодеем – казался им далеким, почти таким же, как Иван Грозный, неопасным, не надоедающим каждый день.

Я спросил у Маши:

– Как ты думаешь, сколько человек было арестовано в сталинские времена?

– Не знаю, – ответила она. – Нас этому не учили. Может быть, тысяч двести.

– Хрущев говорил, что двадцать миллионов.

– Но ведь это столько, сколько убили фашисты во время войны, – задумалась Маша.

Впоследствии я спросил ее маму:

– Почему же вы не рассказали Маше, что происходило в сталинские времена?

Она поджала свои мотыльковые крылышки:

– Зачем? Стоит ли, чтобы дети снова страдали всем тем, что мы уже отстрадали? Я не права?

Я не решился сразу дать Маше «Архипелаг ГУЛАГ». Даже меня, многое уже знавшего, эта книга когда-то оглушила, как удар по голове всеми сразу трупами, смерзшимися в вечной мерзлоте.

Фронтной поэт, автор стихотворения «Артиллерия бьет по своим», после того как я дал ему на ночь эту запрещенную книгу, пришел ко мне наутро с лицом, исковерканным болью и ужасом, как после боя с ночной бомбежкой, и, заикаясь, еле произнес:

– Вся жизнь насмарку. Понимаешь – вся жизнь.

Я вводил Машу в прошлое осторожно, постепенно, чтобы она не упала, споткнувшись о трупы. Наш любовный шепот в течение трех переделкинских ночей до моего отъезда был перепутан с разговорами об истории. Может быть, у нее потом возникло такое отвращение к политике, потому что политика однажды ее почти обманула.

Я быстро понял, что мое представление о Маше как о нежной утренней дымке карельских озер, из которой воображением можно легко лепить все, рассыпается. Дымка оказалась твердой, неуступчивой.

Я открыл, что она страшно упряма и самостоятельна по характеру и не будет чеховской «душечкой». Она может быть и волоокой русалкой из карельских озер, но, если ее разозлить, может быть и щукой, и не дай бог попасться к ней на острый зубок. Она смертельно не любит, когда ей что-то вдалбливают, когда ее поучают, когда ей указывают или приказывают, и иногда, даже обнаружив свою неправоту, может из чувства противоречия упорствовать, вредничать, а то и зловредничать. Но зато если она своим умом доходит до чего-то, то стоит

на этом насмерть. Поэтому я старался, чтобы к выводам о Сталине она пришла сама, и лишь исподволь ей помогал.

Маша была за смертную казнь для убийц. Я был против, потому что не считаю частью прав человека право на чужую смерть. Когда кто-то казнен, в случае судебной ошибки его уже не воскресишь. Если есть смертная казнь, то необходимы палачи, пусть даже кнопочные. Значит, казня одних убийц, мы неизбежно плодим других, потому что в них нуждаемся. Но Маша в практике по судебной медицине недавно столкнулась со случаем, когда мертвецки пьяный отец и его собутыльники зверски изнасиловали трехлетнюю девочку, разорвав ей все внутренности.

– Эти нелюди не имеют права жить! Даже пожизненное заключение – слишком роскошный подарок для них!

Тогда я ей сказал:

– Маша, ты не можешь простить убийц только одной девочки. Но как же ты можешь одновременно называть убийцу миллионов «великим человеком, совершившим много ошибок»?

Слава богу, она была молода и еще могла меняться. Она, как по волшебству, превращалась из острозубой щуки опять в нежную русалку.

– Что ты вообще находишь плохого в щуках? Они же так любят своих щурят. А острые зубы – это же для самозащиты, – смеялась она, если я ее поддразнивал за кусливость.

Меня тронуло до слез, когда она написала мне памятку: «Женечка, не оставляй, пожалуйста, в гостиничных ваннах кусочки мыла на дне. Ты можешь не заметить, поскользнуться и разбить себе голову».

Она не стала – она становилась моей женой.

Ее мать, потрясенная превращением меня из единицы книжного каталога местного университета в потенциального родственника, сначала всплакнула, но потом примирилась с этим, как с метеоритом, обрушившимся на ее мотыльковые крылышки.

– Что вы нашли в нашей Машке? – с ошеломляющей антирекламностью спросила меня ее бабушка. – Она же обыкновенная. Вам с ней будет неинтересно.

– Он бабник, – сказала ей про меня ее «лучшая подруга», зловеще шевеля черными подусниками.

– А может быть, просто не импотент? – по-щучьи ощерилась русалка.

– Но почему – ты? Ты – с твоей сексуальной провинциальностью? Несмотря на то что ты медичка, ты толком даже не знаешь, где у мужчин эрогенные зоны... Я подошла бы ему гораздо больше, чем ты... – наконец-то вырвалось у «лучшей подруги».

Моя мама была самым твердым орешком. Я и моя сестра Леля, нелегко, но мужественно признавшая Машу как историческую неизбежность, продумали целый план, чтобы заполучить мамино благословение.

Не ставя маму в известность о моих заговорщицких намерениях, я пригласил ее на оперу (по иронии судьбы это был «Фауст», несколько смягченный тем, что пел мой старый казанский друг Эдуард Трескин), взяв ей билет между мной и Машей. Маша должна была добраться в театр своим ходом и оказаться рядом с мамой. Я заехал на машине к ничего не подозревавшей маме и на полпути в театр, как бы нечто второстепенное, уронил фразу о том, что хочу ее познакомить в театре с «одним человеком».

Мама встрепелась, как старый боевой конь, снова почуявший запах семейных пожаров.

– Так... И сколько лет этому «человеку»?

– Двадцать три, – ответил я сокрушенно, как будто был в этом лично виноват.

– Ты что, рехнулся на старости лет?

– Мы любим друг друга.

– Девушка, которая на столько лет тебя моложе, может тебя полюбить только за деньги или за славу...

– Мама, ты же ее совершенно не знаешь...

– А я и знать не желаю. Останови машину, я сойду, – непререкаемо заявила мама. – Я не хочу участвовать в этом позоре.

Спорить с ней было бесполезно.

Маша восприняла мой разговор с мамой спокойно.

– Я ее понимаю, – сказала она. – Она тебя любит и боится, чтобы тебя не обманули.

Мама все-таки пришла на нашу свадьбу, которую мы отпраздновали в новогоднюю ночь, и с горьким вздохом бывшей профессиональной певицы пожимала плечами, когда ее окончательно рехнувшийся сын, несмотря на полное отсутствие вокальных способностей и слуха, исполнил под оркестр, такой же пьяненький, как он сам, «Шаланды, полные кефали».

(Мог ли я тогда представить, что всего через пять лет моя мама и Маша заключат друг с другом военный союз против всех моих недостатков и мама подарит Маше свое единственное кольцо, которым она так дорожила? «Ты мне Машу не обижай», – вот что я слышу теперь от моей когда-то непримиримой мамы.)

В ее родном университете Машу отнюдь не стали любить еще больше, когда узнали, что она выходит за меня замуж. Это не укладывалось. Это ни в какие ворота не лезло. Это... это... это было то, чего не должно было быть.

Одна университетская дама из комиссии по распределению, подмазывая серебряным помадным карандашиком губы, похожие на два слипшихся пельменя, со сладкой улыбкой засахаренной змеи сообщила Маше, что ее направляют работать в глухую пятнадцатидворовую деревушку на три года.

– Но ведь мой муж живет и работает в Москве... – постепенно покрывалась щучьей кожей чешуей Маша.

– Льготы по направлению на работу жены по месту жительства мужа имеют место лишь в случае, если муж является незаменимым специалистом. Но писатели не входят в число незаменимых... – гордо поставила на место заносчивую девчонку университетская дама, и всякие легко заменимые пушкины, толстые, достоевские, тургеневы, как букашки, закопошились у ее слоновьих ступней, еле всунутых в плетеные греческие сандалии с бубенчиками.

– Кто же эти незаменимые? – ощутила Маша.

– Партийные и комсомольские работники, засекреченные ученые, офицеры КГБ, МВД, СА... А вот ваш муж, как показали анкетные данные, просто солдат, да еще и необученный... Кстати, как выяснилось, у вашего мужа вообще нет высшего образования, – с триумфальной скорбью вздохнула университетская дама и язвительно добавила: – Ваш муж, если у него есть хоть капелька гражданского достоинства, должен следовать туда, куда как молодой специалист направлена его жена. И между прочим, она направлена не кем-нибудь, а Родиной.

Университетская дама поставила последнюю решающую точку на пупырышке верхней губы серебряным помадным карандашиком, завершая работу по ежедневному сотворению себя, и с плохо скрываемым садистским наслаждением пропела почти баритоном: «Родина слышит, Родина знает...» Ее нос уже начал предвкушающе шевелить пористыми крыльями.

Университетская дама была уверена, что еще чуть-чуть, и эта соплюшка, слишком много о себе возомнившая, не выдержит и начнет спекулировать именем своего пресловутого мужа, и вот тут-то ее можно будет поймать, потоптать всласть слоновьими ступнями, а заодно всех знаменитостей, которые думают, что законы писаны не для них.

Но Маша разгадала ее, спрятала зубки, промолчала.

Местный университет получил-таки дурацкую, но спасительную бумагу от Союза писателей, удостоверяющую, что я – незаменимый специалист.

Работу Маша начала в гульрипшской райбольнице. Ее там полюбили. Любовь выражалась и материально. Народ понимал, что врачи на свою зарплату не продержатся. Ей приносили подарки, от которых нельзя было отказываться: то индюшку – за бронхиальную астму, то мешочек фасоли – за мерцательную аритмию, то арбузище – за кишечную колику, то масло для автомобильного двигателя – за воспаление седалищного нерва.

Однажды я подвез седого сгорбленного грузинского крестьянина в шерстяных носках, галошах на веревочках и в огромной бурке, которая еле поместилась в моей «ниве».

– У тебя московский номер на машине, генацвале, – сказал он. – Ты что, отдыхающий?

– Нет, писатель.

– Слушай, шени чириме, а ты не муж той белый доктор, который меня желчный пузырь лечил? У него тоже муж – писатель.

Затем она работала в Кунцеве, в реанимации, и иногда приходила с опустошенными, остановившимися глазами. Шестьдесят нажатий руками на грудную клетку и одновременно пятнадцать вдохов в уже охладевшие губы человека, которого еще, может быть, можно было вытащить из смерти. Иногда ребра под ее руками ломались, и у нее было страшноватое чувство нечаянного убийства умерших, но еще не мертвых.

Однажды после промывания желудка слесаря, надравшегося антифризом, ей пришлось зафиксировать в его истории болезни «промывные воды небесно-голубого цвета».

Работая участковым врачом, она видела множество старых людей, доживающих свой век в полном одиночестве, позабытых, позаброшенных, никому не нужных.

Самыми одинокими из всех одиноких были «отказные бабушки», от которых отказывались их дети или внуки, спихивая их в больницу помирать, а сами уматывая то бить беззащитных котиков на Командоры, то строить атомную электростанцию в Ливии, то работать в Париже, в ЮНЕСКО, защищая чужие вымирающие нации и оставляя вымирать свою собственную.

Одна вызвавшая врача совсем еще не бабушка, но тоже одинокая женщина прошептала Маше, прижав палец к губам:

– Тише, а то лошадей разбудите, и они заржут.

– Какие лошади? – невольно оглянулась Маша, восприняв это всерьез. Ведь в московских квартирах, на балконах, предусмотрительные люди уже начинали держать свиней и коз.

– Эти лошади – они разные... Есть гнедые, есть серые в яблоках, а один конь черный, как монах... Видите ведро с водой на полу? Это для лошадей. Они, когда пьют, губами причмокивают. А губы у них большие, бархатные. Мне с этим черным конем поцеловаться хочется... Но я его боюсь... – Женщина подошла к Маше и зашелестела ей в самое ухо: – А еще – из этих лошадей вырастают всадники. Прямо из спин. Лошади большие, а всадники маленькие, как гномы. Ног у них нет, а вот руки есть, и в каждой руке по ножу. А я смотрю на них, дрожу как осиновый лист – вдруг зарежут?

Маша выдерживала любую страшную реальность спокойно, как будто рассматривала разъятый в морге труп. Дело не только в том, что она была врачом. У нее и у многих из ее поколения не было даже в ранней юности никаких романтических иллюзий. В нашей семье юным романтиком оказался я, а пожилым скептиком – она.

С самого начала перестройки Маша, в отличие от меня, не обольщалась. Стоило при ней заговорить о политике, как она сразу превращалась из русалки в щуку. И партократов, судорожно хватающихся за свои кресла, чтобы усидеть, и демократов, выдирающих из-под них кресла, чтобы прочно усестись самим, она называла одним сочным, емким словом своего поколения – «козлы».

– У нашего народа – демпинг-синдром, или синдром раздраженного желудка. Часто наблюдается после тяжелой операции, – насмешливо показала свои острые зубки она после одного митинга, где ораторы, призывающие к демократии, лезли на трибуну, совсем не демократически отталкивая друг друга локтями – лишь бы схватить микрофон, лишь бы отметиться в истории. – Желудок страны дезориентирован и не в состоянии удержать содержимое. Фонтанирующая рвота. Понос через рот. То, что я вижу, – это какое-то выблевание демократии...

Она ненавидела политику и презирала так называемую общественную жизнь. Оба эти явления она считала врагами нашей семьи.

– Меня обманули, – подкусывала она меня. – Я выходила замуж за поэта, а мне в постель подсунули депутата, который там, кстати, еще и редкость. Сколько ты мог бы написать, если бы не ходил на ваши митинги, съезды и прочие тусовки.

Но когда нужно было поддержать выдвижение в народные депутаты моего товарища, которому шпана из «Памяти» сорвала предыдущее собрание, она пошла туда со мной на седьмом месяце беременности. Тысяч десять человек брали приступом районную школу, пытаюсь прорваться сквозь милицейский заслон. Взмыленный несчастный полковник милиции пытался объяснить в мегафон, что школа уже набита под завязку. Осаждающие кричали, что это вранье и внутри засели пропущенные еще днем с черного хода партаппаратчики и их приспешники.

Я вырвал у полковника мегафон и попросил толпу и милицию расступиться, дав проход мне и другим доверенным лицам кандидата. Я прокричал, что со мной – беременная жена. Это подействовало.

Толпа расступилась. Маша пошла первой, а за ней – мы, героически спрятавшись за ее живот, как вдруг перед ней, словно рыжик из-под земли, выскочил крошечный, с головой чуть выше уровня ее живота, рыженький человечек в клетчатом веселеньком детском пальтишке.

– Я из цирка, товарищи, из цирка. Я, правда, бывший, но жонглер. Я здесь исключительно для подстраховочки... Таков закон манежа. Сейчас главное – прикрыть живот...

Сначала он мне показался просто ловкачом, старающимся протыриться под предлогом джентльменства. Но как только милиция открыла перед нами дверь школы, толпа снова взбесилась, сомкнула коридор и понесла нас, как неуправляемая стихия, отбрасывая от двери и ударяя о стены. А рыженькая голова жонглера, как желтая предупреждающая мигалка, качалась вокруг Машиного живота, охраняя его. Жонглер, стоя лицом к животу Маши, уперся своими изящными, но сильными ребячьими ручонками в ее бедра, образуя спасительный вакуум между собой и ее животом, и пятился задом к открытой двери, отшвыривая ногами в почти игрушечных ковбойских сапожках всех остервенело лезущих и орущих. Жонглеру наконец удалось ввинтиться телом в дверь. Он схватил Машу за руки и потянул ее внутрь, но ему не хватало силенок. Тогда баскетбольного роста парнюга, находящийся уже внутри, схватил ручищами Ильи Муромца застрявшего в дверях жонглера за ворот его детского пальтишка и, с треском разрывая по шву на спине, втащил и циркача, и Машу в школу. Детское пальтишко жонглера, купленное, как он потом с грустной улыбкой признался, на последних в его жизни гастролях – в Мельбурне, разлетевшись, превратилось в два, но будущий маленький Женя Евтушенко, который находился в Маше, был спасен. Хотя этой истории я ему еще не рассказал, он больше всего любит цирк и обожает жонглеров.

Когда однажды я начал топтать ногами на Машу, обвиняя ее в политическом негативизме и недооценке демократического движения, она вдруг не стала щучиться в ответ, а, озарившись бережно хранимым воспоминанием, сказала с застенчивой русалочьей благодарностью:

– А знаешь, кто самый лучший из демократов? Тот рыженький жонглер, который спас маленького Женю.

Она еще очень любила Сахарова – наверное, потому, что он совсем не был похож на политика.

На его похоронах она плакала – первый раз в своей жизни общественными слезами.

Эта беременность была ее второй. Во время первой она поскользнулась на ровном месте и потеряла ребенка. А ей так хотелось дочку, Дашеньку. Поэтому она боялась за Женю.

В больничном окне, освобожденная, просветленная, показывая мне Женю, она была похожа на Богородицу в киоте из весенних сосулес, сама продышавшая свой лик сквозь иней. Такой я ее снял в «Похоронах Сталина» – правда, уже с другим нашим сынишкой, Митей. Если Женя, как его отец, неуема, непоседа, драчун, дамский угодник, то Митя – это ее ласковенький, нежненький, умненько-хитренький, упряменький, ленивенький, кусливенький щуренок-русаленок.

Вначале с Женей были неприятности – в роддоме его для перестраховки настолько перешпиговали инъекциями антибиотиков, что нежные стенки детских кишочков не выдержали, начали отторгать пищу. Он стал хиреть на глазах. Я потерял всякую надежду. В первый раз за всю свою жизнь я пошел в церковь не как в красивое место, где красивая музыка, а просить заступы за мое дитя у святого Пантелеймона-исцелителя, держащего в тонких пальцах ложечку и ларец с лекарствами. После бабушки, у которой из кармана черной плюшовой попискивал крошечный котенок, я приложился к стеклу иконы, теплему от поцелуев, попав губами во влажный след старческих губ с маленьким туманным ореолом запотелости, оставшимся от дыхания. Правда, святому Пантелеймону помог отнюдь не святой, но от этого еще более очаровательный доктор Станислав Долецкий и великая массажистка – Лидия Власова, лепившая мышцы на хилых подламывающихся ножонках нашего сынишки, и чудо свершилось – Женя выжил.

Маша, исключительно из щучьей хитрости, чтобы не сожрали другие, большие щуки, некоторое время была одним из комсомольских идеологов медфака – и, может быть, в этом тоже причина ее ненависти к политике? От религии Маша была далека и, водя экскурсии в Кижях и других ставших музеями северных церквей, в действующие ходить побаивалась – за это исключали из комсомола, из университета.

Я был религиозным лишь в той степени, как, видимо, неблагодарное большинство человечества, – у Бога попрошайничал, а сказать спасибо забывал. Но я был первым, кто ввел Машу за руку в действующую церковь. Это была церковь Всех Скорбящих на Калитниковском кладбище, рядом с Птичьим рынком. Мы приехали туда с Машей, когда открылась страшная тайна этого кладбища. Даже старожилы-москвичи не догадывались, что под свежими могилами прячется старая общая могила десятков тысяч людей, расстрелянных в «варфоломеевские ночи» тридцатых годов. Чудом уцелели лишь несколько старушек, которые тогда были девочками. Почти пятьдесят лет они держали язык за зубами и вдруг заговорили.

Тогда, в тридцатых, с детским, все замечающим любопытством они решили подсмотреть, что делают люди, приезжающие в парк в закрытых фургонах вечером. Притаившись в кустах, девочки увидели страшную картину: фургон подъезжал, задняя стенка откидывалась, и наша отечественная зондеркоманда в длинных фартуках и резиновых сапогах и перчатках сталкивала специальными крюками один за другим в овраг голые трупы. Пулевые дырки в черепах были хозяйственно заткнуты тряпицами. Многие трупы были уже не первой свежести, со вздувшимися животами, и, падая, лопались с характерным ужасающим звуком.

Напротив кладбища был мясокомбинат имени Микояна, над чьим зданием по ночам сверкал наблюдающий за своими жертвами, усыпанный электрическими лампочками портрет Сталина, а мясокомбинатские собаки подходили к оврагу и, синие от лунного света, выли

над трупами. Когда умер Сталин, Берия распорядился немедленно засыпать этот овраг и хоронить умерших своей смертью поверх убиенных, чтобы новыми трупами прикрыть старые.

Получилось нечто кафкианское – кладбище-сэндвич.

Мы вышли из этого кладбища, как из неумирающего ада нашей памяти, и вдруг Маша остановила меня, показывая глазами на церковь Всех Скорбящих. Под тихое пение под сводами мы вошли в церковную, звенящую голосами чистоту, как будто язычники в воды древнего Днепра.

Священник крестил новообращенных.

Ребенок был только один – ему не исполнилось, наверное, и годика, и он спал крепким сном, сладко посапывая розовой редиской носа. Его крестили вместе с его папой – крупным черноусым красавцем со значком афганских ветеранов. Парень снял только левый ботинок, потому что правый был надет на протез. Мама была торговообщепитовская пышечка, но по ее круглому ватрушечному личику, казалось созданному для смехушечек-посмехушечек, медленно, но тяжело катились редкие, зато крупные, как жемчужины с иконных окладов, слезы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.